

Людмила БАСОВА

г. Владимир



роман

ГЛАВА IV

Сквартирой было глухо. Давать объявления в газеты Алина боялась, многие, продавшие жилье таким образом, до места назначения не добирались, бандиты пасли их не только в Душанбе, но и в Московском аэропорту Домодево. На просьбы сына все бросить отвечала уклончиво. Приехать и сразу стать иждивенцами не хотелось. Да и к войне потихоньку привыкали. Не то чтобы совсем, но прежнего страха не было. Перезванивались друг с другом: у вас сегодня тихо? И у нас не стреляют... О завтрашнем дне старались не думать, в городе начинали оживать учреждения и предприятия, а по утрам ходить транспорт. Нет-нет да и закрадывалась мысль: а может, все обойдется и не надо будет уезжать? Что вещей нет, так бог с ними, оказывается, человеку не так много и надо. А библиотека не пропадет, сохранится у сына.

Алина порадовалась, что не стала впихивать большую десятилитровую кастрюлю в контейнер и не успела отдать ее соседям. Поставила брагу, неделю она «гуляла», и в квартире стоял

запах дрожжевого теста, затем успокоилась, потянуло кислым, и вот тогда-то, как учила соседка, в самый раз гнать. Мантушница действительно оказалась идеальным самогонным аппаратом, и первый блин не вышел комом. Самогон был крепким, градусов под шестьдесят. Алина бросила туда несколько веточек душистого райхона, и он начисто отбил сивушный дух да еще придал приятный зеленоватый цвет.

На самогончик потянулись друзья, шли пешком из дальних микрорайонов, если засиживались допоздна, оставались ночевать, в сумерки никто носа из дома не высовывал, но на полу всем места хватало. Общение за рюмкой — что и говорить — скрашивало жизнь, а то и создавало забавные ситуации. Так, не поверил поначалу своим ушам, решил, что Костя разыгрывает его по телефону, спросив, не хочет ли он случайно выпить, все-таки пришел старый приятель кинорежиссер Ваня Максимов. Коренной москвич, однокурсник Ролана Быкова, он приехал в Таджикистан сразу по окончании института да так и остался, так и прирос сердцем к этому краю. И

Окончание, начало в журнале «Север» № 9-10, 2014 г.

редкая кинолента студии «Таджикфильм» выходила без его участия независимо от того, стояла его фамилия в титрах или нет. Внешне Ваня был похож на артиста Гафта, только шевелюра побогаче. Когда он вошел, Алина только что разлила горячий самогон по бутылкам, одну из них поставила под струю холодной воды из крана, и Ваня, держась за сердце, повторял: «Ребята, если она сейчас лопнет, у меня будет инфаркт». Но когда Алина предложила успокоиться и подождать, пока бутылка сама остынет, возмутился: «Ты, Алина, прямо ваххабиткой стала, издеваешься над хорошим человеком».

Навещала Лена с внуком Димкой. Какое-то время Алина не разрешала ей без особой надобности ходить с ребенком по улицам. Димка — умный парень, хотя и суеты с ним хватало. Наверное, ему было года два, когда он впервые потянулся к их пишущей машинке и, радостно тыча пальчиком в клавиши, восторженно повторял: «Буковка, буковка». Да и позже не дай бог оставить при нем машинку открытой, тут же начинал толкать за каретку лист бумаги, стянутой с письменного стола, и нажимать на «буковки», и не было для него более интересного занятия. Но сейчас ему стали разрешать печатать — самый верный способ занять ребенка так, что не слышно и не видно.

А сегодня соседка сказала, что на базаре прямо с машины продают живую рыбу. Правда, очередь большая, но рыбы много. Алина тут же поспешила на базар, свежей рыбки ох как хотелось.

Торговали два молодых парня. Один, забравшись на цистерну, зачерпывал сачком рыбу, другой бросал на весы. Сазаны и толстолобики были огромными. Очередь волновалась, каждый просил выловить поменьше. И тут женщина, стоявшая впереди Алины, сказала:

— Рыба-то из Курган-Тюбе, а там бои какие были... Говорят, полные водоемы трупов, вот она и разжирела...

Слова ее подействовали как холодный душ. Пожилой таджик, которому уже взвесили рыбу, развернулся и ушел из очереди, а следующий тоже не торопился брать. Возникло некое замешательство, впрочем, им тут же воспользовалась стоявшая в хвосте молодая девушка:

— Подумаешь, крабы, говорят, тоже трупы едят, а деликатесами считаются.

— Глупости это! — кричал продавец. — Рыба большая, потому что долго не ловили.

Алина и сама засомневалась, покупать или нет, хотя женщина, первой высказавшаяся насчет трупов в водоемах, уходит, похоже, не собиралась. Спасибо, подошел знакомый артист из таджикского драмтеатра имени Лахути Азиз Ташмухаммедов. Он-то и шепнул Алине на ухо: «Берите толстолобиков, они не хищники, едят только водоросли, это я точно знаю».

И пристроился рядом с Алиной, вроде бы стоял здесь с самого начала. Она боялась, что вспыхнет ссора, но Азиз белозубо всем улыбался и теперь уже громко озвучивал свои познания из жизни рыб, толстолобики пошли на «ура». А когда они сами приблизились к прилавку, опять зашептал на ухо: «Алина Николаевна, у меня на такую рыбу денег не хватит, вы не займете? А я на днях забегу, отдам. Заодно с Константином Леонидовичем поздороваюсь».

«Где там отдаст! — подумала Алина. — Актеры и так люди небогатые, обнищали сейчас совершенно». Но деньги дала. Азиз был славным парнем.

Дома разделала рыбу, сварила из головы и хвоста густую, наваристую уху, остальное засолила, холодильника у них теперь не было. Лена два дня назад принесла буханку хлеба, ей время от времени «подкидывали» ребята из 201-й дивизии, почти половина еще оставалась. Алина порезала его тонкими ломтиками, мелко покрошила свежую зелень и уже позвала Костю к ужину, как в дверь постучали. Именно постучали, а не позвонили. Долго вглядывалась в глазок, но, так ничего и не разглядев, спросила по-таджикски: «Кто там?» В ответ услышала: «Рахмон».

Рахмоном звали мальчишку из соседнего подъезда, и Алина открыла двери. Это был действительно мальчишка, подросток лет четырнадцати, но незнакомый. Увидев русскую женщину, он то ли испугался, то ли растерялся, но попятился от двери в глубь подъезда. Это был тот самый момент, когда она могла закрыть дверь и забыть о подростке, вернувшись к ужину, но почему-то не сделала этого, а спросила: «Кто ты, что тебе нужно?»

Мальчик пытался что-то ответить, но, кроме «я, я...» и невнятного бормотания, Алина ничего не разобрала, и вдруг он заплакал. Горько,

отчаянно. Она была в смятении. Только сегодня в очереди за рыбой слышала леденящую душу историю: попросился переночевать подросток, его впустили, а он ночью открыл дверь бандитам, семью перерезали. Но тут, обеспокоенный заминкой, подошел Костя и, глянув на неожиданного гостя, сказал: «Заходи в дом».

— Так откуда ты? — повторила свой вопрос Алина, когда они уже вошли в комнату.

— Я пришел из Курган-Тюбе.

— Ты хочешь сказать, что пешком, через перевал пришел из Курган-Тюбе? — изумилась Алина, но, глянув на его окровавленные, распухшие босые ступни, поверила. — Садись, — кивнула она на расстеленные на полу курпачи. Мальчик продолжал стоять, и она догадалась: не смеет сесть, когда стоят старшие. И действительно, стоило им с Костей сесть в кресла, как он тут же со стоном опустился на пол. Но тут еще одна догадка осенила Алину: Курган-Тюбе только что освободили от исламистов, и если он оттуда бежал, значит... Тут же устыдилась — измученный ребенок с разбитыми ногами... И даже вспомнила рассказ бабушки о том, как она выходила раненого то ли красноармейца, то ли белогвардейца, то ли вообще зеленого.

Налила косу горячей ухи, отрезала хлеба. Ел Рахмон сдержанно, хотя было видно, каких усилий ему это стоило. Почерствевший хлеб крошился, и он аккуратно собирал с чистого полотенца, постеленного Алиной вместо скатерти, каждую крошку. И не потому, что был голоден, — у таджиков, особенно религиозных, отношение к хлебу священное, выбросить даже малую крошку — великий грех.

Да, но что с ним все-таки делать? Позвала на кухню Костю, сказала:

— Как хочешь, но оставлять на ночь я его боюсь.

— Но не выгнать же на улицу, Аля?

— Послушай, я пройдусь по соседям, может, что-нибудь придумаем.

— Сходи к Зафару, — посоветовал Костя, — он сам курган-тюбинский, приютит земляка.

Действительно, продолжала Алина убеждать себя по дороге в следующий подъезд. Я — женщина, Костя — инвалид, оба немолодые. Опять же русские, так что, как говорят, фактор риска

более высокий... А у того же Зафара трое рослых сыновей, сам мужик крепкий...

Открыл старший сын студент Шерали, пригласил войти.

— Папу позови, — попросила Алина.

— Они с мамой пошли гостей провожать, здесь рядом, в цековский дом. Сейчас вернутся. Что передать?

— Попроси отца — пусть зайдет к нам на минутку. Тут, понимаешь, такое дело...

Рассказала о Рахмоне, и только теперь, заметив стол, за которым сидели гости, сообразила: сегодня же праздник Навруз... Раньше они отмечали его всем домом, ночью женщины во дворе в большом котле варили сумалак — ритуальное лакомство из проросших зерен пшеницы, по очереди мешали большим деревянным черпаком: проведешь круг, успеешь загадать желание, обязательно сбудется.

Недавно это было, совсем недавно, но в другой жизни...

Зафар не зашел ни через час, ни через два, и Алина поняла, что ждать его бесполезно. На всякий случай позвонила в квартиру напротив, к Кариму Урунову. На то, что он заберет Рахмона к себе, не рассчитывала: у него трое девчонок, сноха с маленьким ребенком, сын служит в 201-й дивизии, что уже само по себе в любой момент может навлечь на семью смертельную опасность. Просто хотела посоветоваться, Карим мягкий, интеллигентный человек, жена его, Матлуба, женщина кишлачная, простая, но радужная и добрая. Они больше десяти лет прожили на одной лестничной площадке и чем могли, всегда помогали друг другу. Кроме того, Карим по-настоящему крепкий, хороший прозаик, и Алина переводила его всегда с удовольствием. И вот оказалось, что не зря зашла. Пока Матлуба суетилась с чаем, — останавливать ее было бесполезно, убеждать, что только из-за стола, тоже, Карим выслушал Алину и нашел совершенно замечательное решение.

— Пусть-ка мальчик одну ночь поспит у меня в подвале, а там видно будет.

Подвалы в доме были сухие, теплые, поэтому некоторые многосемейные писатели переоборудовали их в кабинеты. У Карима вообще там полный уют, письменный стол, топчан, полка с книгами и старый телевизор. Косте с Алиной

хватало места в квартире, подвал у них был завален старым хламом, поэтому самой ей такая мысль не пришла в голову.

Прежде чем отвести Рахмона на ночлег, нагрела воды в тазике, развела марганцовку. Он опустил туда стертые ноги, терпел, сколько мог, затем Алина обработала их йодом. Сама же легла спать с надеждой, что утро вечера мудренее и все как-нибудь устроится. Беженцам, которые недавно еще толпами бродили по городу, сейчас отдали под общежитие одну из гостиниц и здание детского сада в микрорайоне Зарафшан.

Поскольку до гостиницы было ближе добираться, туда и решила первым делом отправиться Алина. На антресолях нашла кроссовки сына, не новые, но из дорогих, он оставил их в свой последний приезд, а Алина забыла положить в контейнер. Из мягкой кожи, размера на три больше, они пришлись в самый раз на распухшие ступни Рахмона, а Карим дал ему свои брюки и рубашку.

Гостиница была переполнена, в основном женщинами с детьми. В нос ударил тяжелый, спертый воздух. Оставив Рахмона в вестибюле, Алина отправилась на второй этаж искать кого-нибудь из начальства. К счастью, старшим оказался бывший заведующий горсобесом, знакомый еще со времен ее работы в редакции. Договорившись, что мальчика обязательно пристроят, спустилась в вестибюль за Рахмоном, но его там не было. Не было его и в сквере возле гостиницы, но Алина все-таки посидела на скамеечке, подождала, может, еще объявится, хотя уже поняла, что Рахмон просто сбежал.

По дороге ругала себя на чем свет стоит, а когда вернулась домой, увидела, что Рахмон сидит на полу рядом с Костей и они мирно беседуют за чаем. При ее появлении тут же вскочил:

— Тетя, простите меня. Я не мог там остаться. Там другие... Они меня не примут. Они меня убьют...

И опять слезы в огромных черных глазищах и совсем детское выражение испуганного лица.

— Хорошо, — сказала Алина. — Но давай договоримся: или ты нам сейчас все о себе расскажешь, или сразу уйдешь.

И он рассказал. Отец был мулла, в семье пятеро детей. Старшие две сестры живут с мужьями в соседнем кишлаке, двое старших братьев воева-

ли, как сказал Рахмон, с кулябцами. Люди Сангака убили отца, братья, по слухам, ушли в Афганистан. Бой шел прямо в доме муллы, Рахмона спас русский солдат, спрятав его в погребе. Мать гостила в это время у дочерей, и он о ней ничего не знает.

Ну что ж, примерно это Алина и предполагала. И все-таки была какая-то неясность, какая-то недосказанность...

— Рахмон, я понимаю, что к сестрам ты идти побоялся, но почему пошел в Душанбе, так далеко? Не попросился к кому-нибудь в ближних кишлаках, по дороге?

Долго молчал, то ли собираясь с силами, то ли не решаясь признаться, потом с трудом выговорил:

— В Душанбе живет дядя. Отец сказал, если что случится, иди к нему, он большой человек и поможет.

— Почему же ты не ищешь его?

— Я его нашел. Я сначала пошел к нему...

— И что же? Ну, Рахмон, не молчи. Тебя не приняли? Не пустили в дом?

В ответ слезы.

— Да, Костя, кажется, мы с тобой вляпались, — сказала по-русски Алина. — Что делать будем?

— Так ведь уже вляпались, — невозмутимо ответил Костя, — поэтому делать ничего не будем. Пусть поживет пока. Решится у нас с отъездом, тогда и с ним что-нибудь придумаем. Отправим к сестрам, там вроде сейчас все тихо.

Знать бы еще, кто этот дядя — «большой человек», может, в соседнем цековском доме живет, ведь оказался почему-то Рахмон в этих краях, рядом. Увидит племянника и сам же нас заложит...

Так вот получается — ругала дочку Лену, а сама тоже обзавелась жильцом. Та, Ленина, девчонка хоть русская, от исламистов пострадала, а кого приютили они с Костей?

Особых хлопот мальчишка не доставлял. В положенное время совершал намаз, днем из дома не выходил. Костя принес ему от Карима Омара Хайяма на арабском языке, и он сосредоточенно читал его, шевеля губами и о чем-то надолго задумываясь. Одно только выводило Алину из себя: Рахмон наотрез отказывался пользоваться туалетом, терпел целый день, а в сумерках уходил куда-то к реке, — самому беспокойному месту, где постреливали и в дни затишья.

Иногда они подолгу разговаривали.

— Чего хотели твои братья, отец? — спрашивала Алина. Он отвечал скоро, как по заученному:

— Чтобы жить по законам шариата.

— А если не все хотят жить по законам шариата? Ты видел, какие девочки у дяди Карима? Старшая, Шамсия, учится в мединституте, она будет врачом. А если победят такие, как твои братья, на нее оденут паранджу и отдадут замуж за старика четвертой женой. Как ты думаешь, она этого хочет?

— Не знаю, тетя, я про это не думал.

— А ты думай, Рахмон, думай. И еще скажи мне, у вас в кишлаке жили люди других национальностей, не мусульмане?

— Жили, тетя. Русские жили, немцы, евреи. Они уехали в свою страну.

— А кто не успел, тех убили, да? И что значит «своя страна»? У нас с дядей своя страна — Таджикистан, мы здесь родились и работали всю жизнь. И вообще, эти люди — русские, немцы, евреи, они что, были плохие?

— Нет, тетя, хорошие были. — Растерянность и слезы в глазах.

Полный сумбур в голове у мальчишки. Но однажды сделал признание, от которого у Алины самой выступили слезы:

— Тетя, когда вы с дядей станете совсем старенькие, я буду о вас заботиться, помогать вам.

— Рахмон, — Алина справилась с комом в горле: — Мы будем старенькие далеко, в России. А заботиться о нас будут наши дети. Но все равно спасибо.

Но иногда что-то смутное поднималось в душе, Алина замыкалась в тяжелых раздумьях. Вспоминалось, как в спешке, за бесценок продав квартиру, уезжала сестра Вера. Тоже почти в никуда — под Симферополем жила семья школьного друга ее сына, в общем-то чужие люди. Все, на что она могла рассчитывать, — остановиться на первое время. Алина с Костей тогда и не думали об отъезде, пытались остановить и сестру. Но та твердила: «Нет, нет, вы не видели того, что видела я. Теперь уже никогда не смогу жить среди них».

Тогда, в феврале 90-го, после того как раздались первые выстрелы и озверевшую толпу оттеснили от центральной площади у президентского дворца, та ринулась громить микро-

районы. Тот, где жила Вера, оказался одним из самых пострадавших. Сын сестры был в отъезде, со снохой и маленькими внуками в квартире на первом этаже, дверь которой можно выбить пинком ноги, они тряслись от страха. Услышав крики о помощи, Вера подошла к окну и сквозь тонкий просвет между шторами увидела страшную картину: толпа таджикских мальчишек от десяти до пятнадцати лет забивала камнями русского старика. Из дома никто не вышел...

Теперь единственная родная сестра Алины живет за тридевять земель, мается по чужим квартирам. Известная, заслуженная журналистка, тоже, как и сама Алина, она родилась в Таджикистане, объездила вдоль и поперек, знала и любила его.

Поняла, одобрила бы Вера ее сегодняшние хлопоты о мальчишке из семьи исламистов? Вслед за этим вопросом возникал другой, более мучительный и жуткий: взял бы Рахмон в руки камень, окажись он в той толпе мальчишек? А порою закрадывались в сознание неясные мысли, что дело не только в Рахмоне, — что-то пытается понять Алина в самой себе, себя на что-то проверить. Недаром столько раз всплывал в памяти бабушкин рассказ о спасенном ею раненом парнишке: «Да какой там враг! — сказала тогда бабушка маленькой Але. — Ему всего-то лет семнадцать было...»

Время шло, но дни больше не теснились, не набегали друг на друга, а тянулись, как растянутые меха старой гармошки, на одной тоскливой ноте. И лишь два из них выбились из однообразной череды. День, когда Рахмон сказал: «Тетя, говорят, в Курган-Тюбе ходят автобусы. Я бы поехал к сестре, к маме...»

«Кто говорит?» — хотела спросить Алина, ведь Рахмон ни с кем, как она считала, не общался, но почему-то не спросила. Дала на дорогу денег, хлеба и конфет-карамельек. Прощаясь, он низко поклонился и ей, и Косте, а Алина, подавив в себе порыв обнять его, улыбнулась и пожелала счастливого пути, а главное — найти мать живой и здоровой.

А на следующее утро, запутавшись в числах, она ощутила смутное беспокойство и, заглянув в настенный календарь на кухне, сообразила: сегодня день рождения брата Витюни.

В этот день, как и в день смерти, они с сестрой обязательно поминали его. Ходили в церковь, ставили свечи, приглашали друзей. Еще недавно была уверена, что будут они с Костей в это время уже во Владимире, да вот не получилось. Инна, вдова Витюни, писала, что непременно вместе с друзьями собираются на кладбище, чтобы отметить день рождения Витюни.

Алина знала его друзей, по крайней мере, самых близких — Колю и Толяна. Они были его сокурсниками, к ним он еще студентом приехал во Владимир и тем определил свою судьбу. Но зато именно Витюня уговорил их после института поработать в Памирской геологической экспедиции. И когда молодые геологи спускались с гор и загорелые, бородатые, как ураган, врываются в дом Алины и Кости, как славно они гуляли! Много пили, вкусно ели, пели под гитару, и летела к чертям собачьим всякая срочная работа...

«Что ж, помянем и сегодня», — сказала себе Алина. Правда, обойтись придется самогоном, банкой кильки в томате и солеными помидорами из магазина Салима. Лена, возможно, принесет хлеба. И нужно позвать Ваню Максимова, он знал и помнил Витюню.

А пока... Алина взяла томик Костиных стихов, раскрыла его на странице, где было стихотворение, написанное вскоре после смерти Витюни, и прочла его как молитву:

*Когда на кострище свое придешь
Раздаренным и усталым —
В память, как в омут. И только дрожь:
Как только темный покой разобьешь —
Вернется все, что казалось малым:
Орешник и заводь в горной реке,
Нагромождение скал,
И все со всеми накоротке,
И ежевика в твоём платке,
И ноет в ногах перевал.
И позабудешь, и не простишь —
Гляди — над кострищем — пламя.
Друзья не уходят. Друзья, как костры
На заснеженном перевале.*

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Несколько раз в дверь звонили, и Толян с Гюлько бьющимся сердцем переждал, когда перестанут звонить и когда шаги тех, кто звонил, стихнут там, на первом этаже. Он боялся высунуться из квартиры до той поры, пока соседи не уйдут на работу.

Натворила мать вчера дел. Пришла к нему прибрать квартиру и постирать, сложила белье в ванну, покрутила краны — воды не было, — да так и оставила открытыми. Сам Толян загулял, домой пришел почти под утро, а воду дали где-то, видно, с вечера. Ну и понятно — все три этажа, что под ним, затопило. Ломились тут, наверное, к нему в дверь, потом замок взломали. В квартире страсть что творится, разбухшие домашние тапочки осели на кухне. В ванной прилипли к полу трусы и майки. Но все это полбеды. Хуже с соседями. Толян сжал ладонями тяжелую похмельную голову. Потом, потом он что-нибудь придумает. Извинится перед каждым, забелит, замажет, что нужно, лишь бы сейчас не объясняться ни с кем, ничего не говорить. Ах, мать, мать! И на нее как обижаться. Семьдесят лет старухе. Ему бы ходить к ней полы мыть, да вот уж так случилось, что мать до сих пор пестует своего младшенького, которому тоже, слава богу, за сорок.

Толян прислушался. В подъезде было тихо, и он стал одеваться. Носки пришлось выжать — по привычке бросил вчера под кровать. Туфли тоже потяжелели. Ничего, на улице тепло, пообсохнет.

Двери закрыл тихо, без щелчка, по лестнице спулся крадучись. На втором этаже жила вредная бабка. Если не ушла шастать по магазинам, значит, стоит у глазка за дверью и караулит его. Миновав опасное место, бросился вниз бегом. Завернув за угол дома, остановился и, малость отдышавшись, выгреб из кармана мелочь. «Двушек» оказалось достаточно, и Толян направился к телефону-автомату.

* * *

Каждый год повторялось одно и то же. День этот Николай Николаевич помнил загодя, а потом, по мере того как он приближался, закручивался с делами — конец месяца, предпразднич-

ные дни. Сегодня помнил еще до обеда, потом начисто отключился. На пять назначил совещание. И тут раздался звонок.

— Але! — хрипела трубка голосом Толяна. — Ты там как, не забыл? У Витюни сегодня день рождения.

На минуту замешкавшись, Николай ответил:

— Как же, как же... Сразу после работы, как всегда?

— Ну да...

— А кто будет?

— Да не знаю пока. Кто вспомнит. Я тут обзваниваю, кого могу. Ну ладно, до встречи.

Николай Николаевич откинулся в кресло. Неувязочка. С совещанием за час не управиться. Но и не пойти он тоже не мог.

Нажал на кнопку, попросил секретаршу вызвать заместителя. Через несколько минут она вошла, доложила:

— Заместитель сейчас будет.

Могла бы сказать по селектору, однако никогда не упустит возможности лишний раз покрасоваться. Смотреть на нее было приятно. Стройная, длинноногая, кокетливая. Ну, ничего, пусть себе кокетничает. Лучше работать будет. Николая Николаевича не интересовали вчерашние школьницы.

Кивком отпустил ее, спасибо, мол.

В пять часов подошел к зеркалу. На него смотрел живыми черными глазами седой красавец. Подтянул галстук, одернул пиджак. Вызвал машину. До шести нужно было еще заехать в магазин.

К шести подъехал к высоким металлическим воротам. Водитель притормозил у лотка «Живые цветы». Рядом сидели старушки, торговали бумажными. Поодаль стояли Толян — бывший одноклассник, бывший коллега, бывший геолог, в последнее время человек без определенных занятий, сейчас, кажется, сантехник, как всегда, в обшарпанной одежде, в старых, каких-то размоченных туфлях, и Женя, тоже одноклассник, друг детства, облокотившийся могучим торсом на костыли. Не густо... Хотя что ж — время идет.

Подошел, поздоровался за руку. И, как всякий раз, спросил:

— Ну так сколько бы ему сейчас было?

— Пять лет прошло, — откликнулся Толян. Го-

лос его хрипел, как испорченный радиоприемник. — Значит, сорок пять бы стукнуло.

К Витюне на день рождения друзья пришли на городское кладбище.

* * *

У Инны Петровны дел тоже было невпроворот. Позвонила из школы домой, чтобы Лариска, шестнадцатилетняя дочь, ждала ее уже готовой.

Лариска засуетилась, запрыгала. Стала примерять сиреневый, сшитый к Первомаю, костюм. Вертелась перед зеркалом, и чем больше вертелась, тем больше себе не нравилась. Здоровущая, какая же здоровущая!

Когда к ним приезжала тетя Алина из Душанбе, сама еще статная и красивая, не могла наглядеться на племянницу. Вот уж рослая да фигуристая, кровь с молоком. Не то что нынешние худосочные красотки. Королевна!

И слышалась в этой похвале не только гордость от того, что Лариска вся в отца, а значит, в их породу, но и давняя, уже забытая неприязнь к снохе, которая увела из семьи любимого братца. И действительно, ничем не напоминала племянница строгую, не улыбку Инну. Будто и не родня.

А Лариска остро завидовала матери. Хрупкой ее фигуре, тонким запястьям, узким, маленьким стопам, бледному, смуглому лицу, которое и красивым-то не назовешь. Слишком глубокие глаза, впалые щеки, крупный, с горбинкой, нос. Ревнивым взглядом подмечала легкую походку, изящество, с которым садилась та в легковую машину и выходила из нее. Пыталась копировать — ничего не получалось. Тетя Алина тоже — королевна, королевна, вся в отца! Так отец-то мужчина. Медведь, увалень — и все равно хорош. А ей какво сороковой размер обуви в 16 лет. Сапоги на икрах не застегиваются.

А так бы, конечно, ничего, — вглядывалась в себя Лариска. И брови вразлет, и глаза то синие, то бирюзовые. Сейчас вот будут, как костюм, сиреневые. И носик ровный, и губы хорошим рисунком. Но лицо слишком открытое, слишком ясное. Нет в нем тайны, нет загадочности, нет чего-то такого, что есть в лице матери.

Так горевала Лариска, прихорашиваясь в свет-

ло-сиреневом, еще ненадеванном костюме, в белых лакированных лодочках, и не заметила, как вошла мать. Вошла и спросила:

— Ты что, совсем?.. — покрутила пальцем у виска.

Та невозмутимо ответила:

— Нет, только немножко... А что, нельзя?

— Переодевайся сейчас же.

Оглядела Лариску с ног до головы. Господи! Вымахала. Лифчик на два размера больше, чем у матери. Вся в отца. Здоровая и без царя в голове. Вырядилась, словно на праздник. Кладбищенскую грязь месить да перед взрослыми мужиками покрасоваться.

Лариска надулась, костюм снимать не стала. Туфли — так и быть, а костюм — нет. У Инны Петровны, как всегда, глаза на мокром месте. Директор школы — а со своей шестнадцатилетней дочкой справиться не может. Так и пошли. Мать в темном, строгом, как и приличествует случаю, Лариска в серебристо-сиреневом.

* * *

Мужчины уже накрыли стол за оградкой, тесно уселись на низких скамеечках. Инна Петровна достала пирог, котлеты. Витюня улыбался с фотографии.

Когда поставили памятник и стали искать, какой снимок увеличить, друзья выбрали этот. Инна Петровна была против. Ей казалось, что вот так, во всю ширь улыбаться здесь, на памятнике, кощунственно. Кроме того, за год болезни муж изменился до неузнаваемости. Высох, личико стало маленьким, скуластым, глаза странно большими. Фотография казалась чужой. Но они решили по-своему, и Инна Петровна не стала противиться. В конце концов они, друзья, которые всю жизнь отнимали у нее мужа, которых она не любила тогда и не смогла полюбить теперь, в тяжелые дни все взяли на себя, тут уж трудно грешить против истины. И эта ограда, и памятник из тяжелого мрамора, и круглый столик, и скамеечки вокруг него — все они. Все для Витюни.

А умер он в ночь под самый праздник. Никуда не дозвониться, в магазинах толкотня. А надо было купить черный костюм, белье, материал красный и черный, ленту для обивки и чего

только еще! Хотела приготовить заранее. Не дали: плохая примета. Как будто без примет и так не было все ясно как дважды два. А на другой день, когда Витюня уже лежал дома, за окнами гремела музыка, на ветру полоскались знамена, мелькали транспаранты, и от этого дикого несоответствия можно было сойти с ума.

Инна Петровна не заметила, как Лариска сдернула с волос, благопристойно стянутых у затылка, тугую заколку, и они рассыпались по плечам. Как же! Ей надо всем нравиться — это тоже папино. Нравиться всем. Ишь, как здороваается — подставляет тугую, упругую щеку, встряхивает распущенной гривой и не может сдерживать улыбки.

Да и все сейчас выпьют, помянут, начнут анекдоты рассказывать. Правда, с оговорками: «Витюня был парень веселый, Витюня жизнь любил, он бы нас понял».

Все время Витюня — отчества до сих пор себе не заслужил.

Толян, быстро захмелевший, начал:

— Эх, Витюня, друг! Если бы правда, что там жизнь какая-никакая и ты бы нас слышал, Витюня... Помним мы тебя, товарищ дорогой, и любим.

«Да уж, вам-то есть за что его любить», — думала с раздражением Инна Петровна. Вечно мчался сломя голову по чьим-то делам. А ей — жди, томись, переживай. Среди ночи приведет компанию, не спросит — как она, устала — нет, не подумает, что вставать чуть свет. Вытащит все из холодильника, все, что на неделю наготовлено. И сидят чуть не до рассвета.

«Нет, никогда он со мной не считался», — растревляла она себя. Но память подсказывала и другое.

Когда рожала Лариску, он всю ночь так и просидел под окном роддома. А когда в тяжелом состоянии попала в больницу, он узнал об этом там, в горах Памира, и сразу рванул к ней. Шел пешком километров двадцать по снегу, с обмороженными ногами добрался на попутках до города, с температурой под сорок сел в самолет.

Это тоже было. Но едва выздоровела — начался рваться из дому. Тосковал, все поперек делал, сигареты зажженные «вешал» на мебель, она до сих пор вся в подпалинах.

Лариса схватила котлету, кусок пирога, бросила на ходу:

— Я пожужу, погуляю...

Хорошо весной на кладбище. Нежно пахнет сиренью, одуряюще — черемухой, волнующе — растревоженной землей. Она шла мимо знакомых памятников, читала надписи, высчитывала, сколько кому было тогда лет и сколько было б теперь. Остановилась возле совсем еще свежего холмика. Памятник пока не поставили, только небольшой постамент на четырех ножках, со звездой, а на нем — портрет солдата в черной рамке. Совсем еще молодой парень. Мальчишка. Вдруг заплакала. Слезы теплым дождиком заструились по щекам, она их не вытирала.

Лариске было жаль этого совсем не пожившего парня. Фантазия ее, такая безудержная, тут же выстроила сюжет: она могла бы встретить его и полюбить. Может, именно он и был ее суженым, ее единственным. Кто знает?

Она могла сочинить целую историю про себя и про него, не встретившихся. А вот осознать то, что ее отец лежит неподалеку под каменной плитой, не могла. То, что похоронено там — нечто другое, это не ее папочка. Он где-то... Где? Может быть, вон там... Лариска задрала голову, словно надеясь увидеть в синем небе звездочку.

Когда папа болел, мама изо всех сил скрывала, что у него рак, а он делал вид, что не подозревает ничего такого. Они словно бы играли в какую-то игру. А вот с Лариской папа об этом разговаривал. Он даже сочинил ей сказку про планету великанов, в которую она тогда поверила:

— Жили-были, — говорил он, — на одной из планет очень большие и очень сильные люди. Великаны, одним словом. Посетили они однажды нашу планету Земля, ну, невидимками, конечно...

— На летающих тарелках?

— Да, на тарелках, посмотрели на людей, и стало им их жалко-жалко... Маленькие, хиленькие, любая болезнь одолеть может. Да еще злые — оружие выдумывают, воюют. Надо, — решили, — им помочь. А то они как начнут войну, так все и погибнут. Клетки у них такие слабенькие. Вот и решили их переродить.

— Людей?

— Клетки. Ну, и людей, само собой. Чтоб сосстояли они из таких клеток, которым ничего не

страшно, ни радиация, ни болезни — ничего. Клетки будут разрастаться, человек превратится в великана, которому все нипочем, даже атомная бомба. Спустились на землю, опять невидимками, стали опыты свои делать. Вроде бы все рассчитали, а чего-то не учли. Не получаются пока опыты. Умирают люди.

— Значит, надо перестать такие опыты делать.

— Понимаешь ли... Они как рассуждают: лес рубят — щепки летят. Заболеет чей-то муж или сын, или мать — горе, трагедия... А им невдомек, они-то человечество спасают. Планету Земля.

— Дураки они все равно, — заключила Лариска. — Мне не надо, чтоб ты был великан.

Инна Петровна, услышав от Лариски про планету великанов, в ужас пришла. Первая мысль — значит, знает? Потом рассердилась — ничего себе, сказочка для десятилетнего ребенка. Хотела Витюне высказать, но в тот день он был особенно плох. Промолчала.

* * *

Николай Николаевич, задумавшись, смотрел на портрет друга. Как ему не хватало его все эти годы! Взял бы Витюню к себе в управление, сделал заместителем, правой рукой. Свой человек, которому можно довериться даже в наше безумное время дикого рынка, надежный, прочный тыл. Хотя Витюня, возможно, и не пошел бы. Административной жилки в нем не было, коммерческой тем более. Впрочем, о чем рассуждать теперь...

Пять лет учебы в Москве он прожил с Витюней в одной комнате, но и все последующие годы, уже после института, были неразрывно связаны с ним. Самые яркие из них — время работы в Памирской геологической экспедиции. Там он узнал цену настоящей мужской дружбы, полюбил этот горный край, как к родным, привязался к хлебосольным, милым сестрам Витюни, и, может быть, впервые, просиживая ночами за разговорами с Костей, мужем одной из сестер, почувствовал тягу к поэзии. Даже сейчас, когда стал бизнесменом и выбился в «крутые», не было для Николая Николаевича лучшего отдохновения, чем сборник хороших стихов.

Пристальный, тяжелый взгляд Инны оторвал его от воспоминаний. «Опять она думает об этом несчастном случае, — догадался Николай. — Да так ли он несчастен? Ведь никому, кроме нее, даже в голову не пришло, что одно как-то связано с другим. А если не связано — то таких происшествий в их геологической жизни было пруд пруди. Это просто совпало по времени...»

Ребята тогда были в поле, стояли недалеко от Хаита, того самого, где много лет назад произошло страшное землетрясение. И вот ведь как аукнулось — провалились Николай с Толяном в пустоты, образованные этим землетрясением. В западню, источающую какой-то ядовитый газ. Потом говорили — трупный яд. Может быть: сколько людей навсегда осталось в бесившихся пластах земли, сколько скота... Впрочем, детали тогда Инну не интересовали. Знала только, что вытащил их обоих Витюня. Спустился с подстраховкой, обвязанный канатом. И был-то там меньше всех, но только знает Инна: с этого все началось. Хотя странно: Николай здоров, в «новые русские» выбился, Толян, правда, осип, похоже, на всю жизнь. А Витюня... Витюня сначала покашливать начал, даже курить бросил. Потом стал уставать. Если бы тогда обратить внимание: Витюня — и вдруг устал. А она радовалась, больше дома сидеть будет. Берут годы свое. Хотя какие там годы...

Встревожилась лишь после того, как шли они с рынка, груженные тяжелыми сетками, и он отставивался через каждые пять шагов, а на лбу выступала испарина. Тогда она отняла у Витюни сумки, а он стеснялся идти рядом. Что подумают прохожие: здоровый мужик, а маленькая женщина сумки тащит. Все пытался забрать их назад. Инна Петровна прикрикнула на него наконец, и он покорился, молча шел сзади.

Вечером уложила Витюню в постель, смирив температуру. Небольшая — 37,3. Утром вызвала врача, предварительно поругавшись с мужем, он уже собрался уезжать в экспедицию. Еле убедил — надо же выяснить, в чем дело. Врач поставила диагноз — ОРЗ.

— Видишь, — сказал Витюня, — ничего страшного. Ерунда.

Но температура держалась, и Инна Петровна, опять силком, заставила его пойти сдать анали-

зы. Что-то врачей насторожило, видно, в этих анализах, и они послали его на рентген.

Через день прибежала к ней в школу участковый врач, бывшая ученица Инны, вызвала с урока, заплакала.

— Плохо, ой, как плохо, Инна Петровна. Опухоль в легких.

Обследование в стационаре подтвердило страшный диагноз. Вот тогда, еще не осознав всей безнадежности, еще не поверив, вспомнила Инна про эти проклятые пустоты, про газ. Сама толком ничего не зная, стала рассказывать врачам. Те пожимали плечами. Вряд ли. Скорее от курева. Ведь он курил?

Инна Петровна взяла себя в руки. Надо действовать, надо что-то делать. Как это так — только обнаружили и уже поздно? Может, в Москву надо добиться направления. В клинику Блохина?

Ей твердили: не мучайте, поздно...

Вспомнила: Женя, одноклассник Николая, возил свою маму к какому-то старику в Киргизию. То ли травнику, то ли экстрасенсу... Правда, отношения у Вити с Женей в последнее время разладились, но какое это сейчас имеет значение! Побежала к нему. Женя долго не мог понять, поверить, и сильный, тяжелый его подбородок дрогнул от изумления.

— Конечно, — сказал он наконец, — адрес дам и записку напишу, но мама-то... умерла.

Инна Петровна забрала Витюню домой. Научилась делать уколы, ставить капельницы, мерить давление, спать по три часа в сутки, принимать бесконечную вереницу друзей, приходивших, иногда приезжавших издалека проводить Витюню. Они привозили с собой рыбу — свежую и копченую, апельсины и даже ананасы, — Витюня давно уже ничего не ел, и Инна Петровна кормила всем этим добром очередных визитеров.

Еще помнит она, как Николай привел с собой молодую красивую женщину. Кажется, Лидию. Всем видом подчеркивал, что это его знакомая, его подруга, обнимал за плечи. Но Инне Петровне достаточно только было увидеть, как глянула та на умирающего Витюню, чтобы понять, что к чему. Не такая уж она дура, как считали ее Витюнины друзья...

* * *

Николай понимал, что Инна недолюбливает его, как, впрочем, и других друзей Витюни, но мирился с этим. Жена — это серьезно. А так никогда никакая тень не омрачала их братских отношений. Со студенческих лет Николай знал, что пошел бы на все ради Витюни. Если пришлось бы — отказался от самой большой любви, если бы та любовь легла поперек сердца Витюни. Он никогда не думал над тем, хорош или плох его друг, его брат. Он его просто любил. И если задумался однажды, то после этой истории, когда провалились они с Толянном. Нет, он не был как-то по-особенному признателен Витюне за то, что он их вытащил. Ну а кто бы не полез выручать друзей, рискуя даже собственной жизнью? Таких Николай среди геологов не знал.

Но вот там, в этой яме... Толян вывихнул плечо и был, видимо, в шоке. Лежал с закрытыми глазами, хватая ртом ядовитый воздух. У Николая судорогою сводило горло, сумеречный свет становился темно-красным, в нем качались и плыли перед глазами черные шары. Когда появился Витюня, Николай рванулся к нему, почти выхватывая из рук конец каната, уже готовый обвязать себя, и Витюня, нагнувшись над Толянном, сказал:

— Только давай осторожнее его перевязывай, чтоб плечо не затронуть.

Конечно, конечно, поднимать надо Толяна. Как он мог! Это все дурнота, от которой плавился мозг.

Они подняли Толяна, потом выбрались сами. Но всегда, сколько будет жить, будет стыдиться Николай этой минутной слабости и будет благодарен Витюне за то, что не дал тот ею воспользоваться и что позволил себе вовсе не заметить ее. Но странно — случай этот отделил его от Толяна. Как будто тот мог видеть или знать. В том, что Витюня никому об этом не сказал и даже никогда не вспоминал, Николай не сомневался. Так в чем же дело? Иногда догадывался: мы не любим тех, перед кем виноваты.

...Вернулась Лариска, в руках — букет сирени, нарвала по дороге. Бросила на памятник, спросила:

— Вы тут еще не все съели?

«Боже мой, в кого она такая бесчувственная?» — в который раз ужаснулась Инна Петровна.

Толян поднялся, стал уступать ей место. Та замахала руками: «Сидите. Я пристроюсь». Уселась почти ему на колени.

У Толяна перехватило его осипшее, болезненное горло. Он уже забыл, как пахнут весной молодые, чистые девчата. Захотелось уткнуться носом в эти светлые волосы. Лариска! Витюнина. Родная...

* * *

«Если все же из-за этого случая, то почему не я? — в который раз спрашивал себя Толян. Свою жизнь одинокого алкоголика он ни во что не ставил. Жил по инерции. А ведь когда-то был счастлив. До той самой поры, пока Женья, друг детства, не увел у него жену Асю. Любимая женщина ушла к другому, любимый друг ушел совсем, туда, в небытие. А он, Толян, живет, чинит чужие унитазаы, зашибает деньги и пропивает их. Вот эту девчонку Витюнину он любит, дай бог, чтобы сбылось у нее все, что у них с Витюней не сбылось. Жена его Инна тоже ничего женщина. Хотя одного Толян ей простить не может. Был такой момент...

Такой момент был. Третий день врач, наведывавшийся к Витюне, говорил: вряд ли до утра дотянет. Витюня впадал в забытие, сознание возвращалось к нему ненадолго, но до утра дотягивал — словно ждал своего дня рождения как некой завершенности. В ту последнюю ночь Толян не ушел домой, остался с Витюней. Под утро Витюня стал задыхаться, и он посадил его, подложив под спину подушки. Но вдруг чего-то испугался и позвал Инну.

Инна подошла, наклонилась над мужем, привычным движением взялась за пульс и не почувствовала его.

— Все, — сказала она Толяну. — Давай положим, а то потом будет трудно.

И в этот момент Витюня открыл глаза, посмотрел печально и осмысленно. Они оба остолбенели, а Витюня сам стал клониться боком, стараясь лечь. Когда Толян помог ему, слабо, то ли в благодарность, то ли прощаясь, кивнул, сложил на животе руки, вздохнул в последний раз глубоко, затажно.

Толян выскочил в подъезд, чтобы там, на ступеньках, поплакать, никого не стесняясь. Но перед этим глянул на Инну Петровну с укором, сказал: «Эх вы...»

Инна Петровна и по сей день успокаивает себя. Может, показалось им с Толяном. Не мог, не мог Витюня, всю ночь бывший без сознания, услышать ее. Но опять вспоминала ясный, осмысленный взгляд мужа и казнила себя, ничего не умея поправить.

Женя молча выпил еще одну рюмку и стал думать о превратностях жизни. Они были одноклассниками — Коля, Толян, Женя. Но двое здоровых ребят поступили после школы на геологический факультет московского института. Женя, инвалид с детства, стал студентом экономического факультета в университете своего города. К Витюне у него было отношение двойственное. Вроде бы и любил его, и не мог простить, что тот вклинился в их дружбу с Колей и Толяном, вошел, как нож в масло, и, быть может, отодвинул на второй план его, Женю. А еще завидовал безмятежной легкости Витюни в общении: куда бы ни пришел — везде свой, и по сей день удивлялся, что именно он ушел из них, друзей-ровесников, первым. Не он, Женя, которому пьяный отец в детстве перебил позвоночник, которого мать на горбу таскала в школу до седьмого класса, пока он не окреп и не смог встать на костыли, а именно Витюня, удачливый мальчик из хорошей семьи, всеобщий любимец, которому ничего и никогда не приходилось доказывать.

Десять лет назад он, Женя, отбил у Толяна жену, самую красивую девочку из их класса, из всей школы. Так считали, по крайней мере, многие. Но не он, Женя. Знает он этих хороших в свои 17–25 лет. Вздернутый носик, светлые кудряшки, осиная талия. К тридцати от них уже ничего не остается. Родила, чуть пополнела — и все. Стертое личико, приземистая фигура. Сейчас ее, Асю, в толпе не отличишь, не выделишь. Бросил искоса взгляд на Инну. Эта, пожалуй, в школе ходила в дурнушках, а с годами все интереснее становится. Такое лицо и в шестьдесят лет будет притягивать к себе.

* * *

Женя отбил Асю, не любя. Это началось на вечеринке у общих друзей. Он сидел, не пил и, само собой, не танцевал, и глаза его неотрывно следили за Асей. Она нет-нет — тоже бросала на него удивленный недоумевающий взгляд. Толян, Коля, Витюня на днях уехали в экспедицию, и когда закончился вечер, Женя предложил проводить Асю. Когда вышли из такси, напросился на чашечку кофе. Потом обнял ее, охмелевшую, доверчивую, и говорил, говорил... О том, что любит еще с детства, но никогда не смел, не надеялся, не решался... Проклятая закомплексованность от того, что постоянно ощущаешь свою неполноценность... Что он только не говорил! Как слабо она сопротивлялась, как быстро сникла в его сильных объятиях, к утру уже была согласна идти за ним на край света и при этом чувствовала себя декабристкой.

Теперь они несчастны каждый по-своему. Женя от того, что ненавидит жену и не любит сына, который родился через девять месяцев после того, как он увел Асю. Вот и считай: плюс-минус... И хоть уверяет Ася, что это его сын, он постоянно ищет и находит в нем сходство с Толяном.

Ася тоже несчастна. Женя не слишком-то пытается скрыть свое отношение к ней. А Толян... Тот вовсе сломался. Спился. И ведь даже настолько не хватило, чтобы руки не подавать при встрече. Вот Витюня не подавал. Они не общались до той поры, как прибежала к нему Инна за адресом фрунзенского старца. И когда Женя впервые пришел к Витюне в палату, сел рядом и взял его за руку, тот лежал, повернувшись к стене.

А ведь и сам не святой. Не святой же! Была эта женщина по имени Лидия. Он тогда все понял, как поняла, кажется, и Инна. Откуда же это право — судить других? Почему перед ним было всегда за что-то стыдно?

Толян только сейчас понял, что все еще держит полную рюмку в руке, и кивнул Жене: «Поехали!»

Совсем по-алкашному сморщился, занюхал соленым огурцом, закусьвать не стал и, перехватив взгляд Жени, усмехнулся.

«Он ведь считает, что я спился из-за Аси, — думал Толян. — И все, пожалуй, так считают. А эта

черная яма, в которую они провалились, — лишь хриплый голос». Если бы они знали, что она сделала с ним. Теперь в нем навсегда поселился страх. Страх непонятный, непостижимый и неподвластный его разуму. Впервые он ощутил его, как ни странно, в кинотеатре. Народу была тьма, он сидел в середине зала, и вдруг его охватило беспокойство. Как далеко он от двери. Как трудно будет прорваться к ней, если вдруг... Нет, ни о чем таком реальном Толян не думал, но какая-то сила заставила его пересесть на боковое место в первом ряду, рядом с дверью.

Это было только начало. Страх, переходящий во всепоглощающий ужас, охватил его в самолете. Он понял, что боится не авиакатастрофы, а того, что он заперт в этой железной капсуле. И будь его воля, предпочел бы выброситься вниз, в эти облака, лежащие на горах, лишь бы избавиться, отделаться от этого страха. Больше он не летал самолетом. Но страх приходил к нему ночами, он просыпался в холодном поту с безумным желанием выскочить из сжимающего его пространства, разорвать невидимый обруч. Бросался к двери — вдруг заело замок и он оказался запертым у себя в квартире на четвертом этаже? Распахивал настежь двери и окна и лишь тогда, обессиленный, засыпал.

Он начал пить, чтобы избавиться наконец от этого страха, и поначалу действительно чувствовал облегчение. Круг раздвигался, пространство размыкалось. Но только поначалу. Вместе с тяжелым похмельем возвращался страх, еще более уродливый и многоликий. Толян не мог заставить себя зайти в лифт, и если в домоуправлении ему давали вызов на восьмой-девятый этажи, поднимался по лестнице. Трезвый он не мог уснуть, а пьянеть почти перестал из-за не покидающей его тревоги в ожидании похмельного утра.

Однажды, взяв бутылку коньяка, он постучал в дверь к соседу — врачу, хорошему, как говорили, терапевту. Поговорив о том о сем, косноязычно начал:

— Это, слышь! Друг у меня есть. Такой чудик — в лифт боится зайти, в самолете лететь не может. Страх у него, понимаешь ли...

Врач кивнул:

— Клаустрофобия. Боязнь замкнутого пространства.

— А это как... излечимо?

— Лечат, по крайней мере. Смотря на какой основе, в какой стадии.

— Так, может, чего посоветуешь? Лекарства какие? А я ему скажу.

— Нет, этим занимаются психиатры. Вот пусть к ним и обращается... твой друг, — чуть запнувшись, ответил врач.

Толян дважды подходил к психоневрологическому диспансеру и ни разу не вошел. Безумная мысль, что его запрут, не выпустят оттуда, парализовала волю, не давала сделать последнего шага. «Самому надо справиться, самому», — твердил он и уговаривал себя не поддаваться страху. Но как ни старался, страх напознал снова, заставлял бешено колотиться сердце, и тогда трясущимися руками он опять хватался за бутылку.

Был бы Витюня жив. Был бы... Ему бы Толян рассказал все без утайки и полбеды сразу бы не стало, а потом и со второй бы половиной справились. Витюня что-нибудь бы придумал. Силком сводил бы его к врачу, прежде сходил бы сам, все разузнал. Нет сейчас такого человека у Толяна, нет. Николай, правда, тоже друг, тоже хороший парень, но есть между ними какая-то дистанция, не позволяющая приблизиться к сокровенному.

* * *

Ася, как всегда, поминала Витюню в одиночестве. Поставила на стол сладкий пирог, открыла бутылку вина, зажгла свечу. Она никогда не ходила на кладбище в его день рождения, ей было невыносимо видеть спившегося, несчастного Толяна в присутствии Жени, говорить с ним. Вот уж кто достоин сожаления, так это Толян. Но однажды она подумала иначе, кинулась к Жене, решила осчастливить... Как тяжело приходится расплачиваться за один легкомысленный вечер! Да если бы только ей! Сын не любит отца, и Ася чувствует: еще год-другой и он рванет из дома.

Достала старую фотографию. Вот они, все четверо: Толян, Витюня, Коля, Женя. Витюня, как всегда, улыбался. Ася тоже улыбнулась ему, выпила рюмку. Попросила прощения у всех четверых и тихо заплакала.

* * *

Инна Петровна глянула на часы. Что, пора? Первым поднялся Николай Николаевич. Лицо его стало печальным и скорбным — но это не было приличествующим моменту выражением. Точно так же было у него и на сердце. Прощаясь, как по плечу друга, похлопал он ладонью по памятнику.

Толян пригрелся возле Лариски, и на душе у него было так спокойно, как давно, пожалуй, уже не бывало. И этот покой, умиротворение это исходило от дочки Витюни невидимыми токами.

— Вот они, гены, — некстати сказал он вслух, и все засмеялись его чудаковатости.

Женя не спеша поставил костыли, тяжело навалился на них. И вновь, помимо воли, торжествующая нотка запела в его душе.

* * *

Вечером утомленная Лариска укладывалась спать. Инна Петровна собиралась поработать. Уже засыпая, вдруг поднялась на постели и сказала:

— Мам, давай с тобой за Толяна замуж выйдем?

Инна Петровна аж задохнулась от возмущения:

— Что ты мелешь! Какая глупость!

Потом, когда Лариска уже спала, Инна Петровна, выбитая из колеи ее дурацкой фразой, долго еще повторяла: «Какая глупость!» Но чем больше повторяла, тем меньше было в ее голосе уверенности.

* * *

Одного не знала Инна Петровна: будь при этом сестра Витюни Алина, она совсем бы, как Толян, сказала: «Вот они, гены», потому что непременно бы вспомнила, как сама когда-то в детстве предлагала бабушке «взять замуж» нищего инвалида Славу.

ГЛАВА V

Костя стал ходить на работу. Без особой надежды на то, что выйдет в свет следующий номер журнала, вычитывал, правил рукописи. Алина совсем затосковала, и, когда позвонил редактор «Вечерки» Джалил, она даже обрадовалась.

— Тряхните стариной, Алина Николаевна! — уговаривал Джалил. — Я слышал, что с отъездом у вас пока притормозилось, а у меня работать некому. Только и осталось всего — ваша дочь да Роза Бабаян, да фотокор Алим. Обещаю: никаких командировок и ходить каждый день не надо. Будете писать, что сами сочтете нужным. Думаю, вам есть что сказать. А зарплату пока платим, вам сейчас деньги тоже не лишние. Так что выходите хоть завтра.

— А что, и выйду, — решила Алина.

И действительно вышла, даже успела напечатать два публицистических материала, из тех, что писала для Москвы, но через неделю кончилось затишье.

Опять шли на улицах бои, то захватывали телецентр, то штурмовали Дом радио, где расстреляли в упор четырех журналистов. И опять перестали выходить газеты, люди попрятались по своим норам, город опустел, а исламисты по телевизору «разъяснили», что власть перешла к «молодежи города». Можно, конечно, было бы и посмеяться: такой власти никогда и никто еще не придумывал ни в каком Мозамбике и Зимбабве и что это значило, никто взять в толк не мог. Скорее всего, в рядах бандитов произошел раскол и молодые экстремисты решили потеснить духовного лидера имама Тохтазаде.

И опять были по ночам голодные звери в зоопарке, давило чувство собственной потерянности, неумения принять решение, жалкое подбадривание: «Надо что-то делать...» А потом вновь затишье, но уже без надежды, что что-то устроится. Тупиковый, недолгосрочный покой. Еще раз Алина вышла на работу, только на один день, но что это был за день!

С самого утра звонки в редакцию:

— У нас в подвале труп несколько дней лежит, никто не забирает. Помогите, пожалуйста!

— В парке Дружбы народов несколько уби-

тых... Слегка землей присыпаны, собаки разры-
вают. Сделайте что-нибудь!

Алина звонила в милицию, в морги, ей отвеча-
ли: бензина нет, выехать не можем.

Подошла Роза Бабаян, она жила в дальнем
микрорайоне, часа полтора добиралась пешком,
Лена была в командировке. Алина попросила
Розу отвечать на звонки, призналась, что сама
просто не в состоянии. Роза отвечала поначалу
вежливо и сострадательно, она была одинокая,
сентиментальная и жалостливая женщина. Но
уже к обеду стала кричать в трубку:

— Так что вы хотите от нас? Чтобы мы пришли
и убрали трупы?

Кричать кричала, но потом, обхватив голову
руками, сунув пальцы в жесткие завитки волос,
раскачивалась из стороны в сторону, и плач ее
был похож на мычание долгим, протяжным зву-
ком «м-м-м»...

Фотокор Алим позвал Алину в поселок Юж-
ный. Там в подсобных помещениях мечети ис-
ламысты якобы устроили склад оружия, сейчас
ее оцепили военные, милиция.

— Может, съездим, вдруг что интересное, на-
пишете репортаж, а я потом вас домой отвезу.

— Точно отвезешь, Алим?

— Клянусь. Я вчера бензин достал, почти це-
лый бак.

Ну, Алим! Достать бензин, когда даже у ми-
лиции нет!

Алина поехала, но подойти к мечети им не
позволили. Даже не то чтобы не позволили.
Милицейский майор с серым застывшим ли-
цом тихо сказал:

— Там не только оружие, там растерзанные
тела, отрезанные женские груди. Вы хотите
это снимать?

— Нет, — отшатнулась Алина и, повернув-
шись, пошла прочь. И тут увидела молодого
солдата, совсем мальчишку, который стоял,
обняв дерево, и плакал. Потом его стало рвать,
он присел на корточки, содрогаясь всем те-
лом. Алина не знала, как помочь солдату, чем
утешить. Достала из сумки чистый носовой
платок, протянула ему.

Алим дотронулся до ее плеча:

— Пойдемте, Алина Николаевна!

Всю дорогу молчали, но когда подъехали к до-
му, Алим взял ее за руку. Скуластое смуглое ли-

цо было сумрачно, веки, нависшие над узкими
глазами, мелко подрагивали.

— Алина Николаевна! У вас есть своя Россия. А
у меня Узбекистан, куда Каримов распорядился
не пускать беженцев из Таджикистана, даже та-
ких, как я, — этнических узбеков, жена украинка
и трое детей — метисов. — Невесело улыбнулся
одними губами: — Я вот до сих пор не знаю, у де-
тей как: должно быть два национальных само-
сознания или им и по одному не положено? Хо-
тя, признаться, я сам не очень-то понимаю, что
это такое, национальное самосознание...

Костя, услышав шум подъехавшей машины,
поднялся навстречу, Алина обняла его и долго
стояла так, припав лицом, прижавшись всем
телом.

— Не знаю, есть ли у меня Россия, но у меня
есть любовь, и даже если рухнет мир и кру-
гом насилие и жестокость, — мысленно про-
должала диалог с Алимом, — я все еще
чувствую себя счастливой.

Вслух сказала:

— Костя, я не пойду больше на работу. Не
могу.

Вечером смотрели новости по центральному
телевидению. Освещая события в Таджикиста-
не, ведущий — этакий красавец гусар с пшенич-
ными усами, кумир Алины в первые годы пере-
стройки, рассказал, что в Душанбе русские сол-
даты осквернили мечеть в поселке Южном,
вошли в сапогах и устроили обыск...

Так дожили Алина с Костей до августовского
путча. И отдаленность от событий, невозмож-
ность как-то участвовать в происходящем, ску-
дость информации и недоверие к ней сделали
эти события еще драматичнее. К тревоге о
собственных судьбах прибавилась одна общая —
тревога о судьбе России.

Но пережилось вроде бы, успокоилось, встало
все на свои места. Только однажды увидела Али-
на странный сон, который не мог привидеться
просто так, ни к чему. Что-то в нем было заложено,
что-то предсказывалось... Будто смотрелась
она в большое круглое зеркало, а оно вдруг пош-
ло трещинами. И трещины ложились замысло-
вато, словно контурная карта. Осколки не пада-
ли, оставались в раме, и в них появились изобра-
жения. На одном — грустные глаза сестры, на
другом лица уехавших друзей, а вот трещина

пошла по центру, прочертив линию на отражении самой Алины, прямо по сердцу... Она и проснулась от боли в сердце.

Косте решила пока не рассказывать, хотя он к снам жены относился серьезно. Не раз они оказывались вещими, провидческими. Но если Алина понимала, что ничего хорошего они не предвещали, рассказывала их, как учила когда-то бабушка, бегущей воде, приговаривая: куда вода, туда и беда. И надо же, не было с утра в доме воды. Алина собралась даже сходить к арыку, а то и спуститься к Душанбинке, но не успела.

Костя включил телевизор, чтобы, как всегда, послушать новости. И они узнали, что нет больше такой страны — СССР, и что теперь они живут за границей... «Итак, империя рухнула», — неслось с экрана. И, судя по интонациям и комментариям, принимать этот факт народ, без ведома которого он свершился, должен с восторгом, как торжество демократии и свободы. И ни слова о соотечественниках, оставшихся на развалах Союза...

Вот и сбился сон, прошла по сердцу трещина. Разделили, разрезали по живому...

Что ж, Россия действительно была империей, хотя империей довольно странной. Больше отдавала, чем брала, и уж те, кто жил в национальных республиках, знают об этом лучше других. Впервые Алина увидела российскую глубинку, когда они с Костей приехали во Владимир на свадьбу Витюни. Справляли ее в деревне, у родителей Инны, потом еще недельку погостили, и сват на стареньком «Запорожце» повозил их по Владимирской области. Алина была потрясена бездорожьем и нищетой российских деревень. В Таджикистане в кишлаках дороги были асфальтированы, а дефицита с продуктами в магазинах почти не было. Более того, если в Душанбе в самый «расцвет» застоя начинал исчезать, скажем, сахар, договаривались с друзьями и ехали на машине по дальним кишлакам. Там, в магазинах коопторга, можно было купить почти все: от сахара до французских духов и модных туфель на шпильке. Снабжали-то без ума, не учитывая ни спроса, ни традиций местного населения. В Душанбе у Алины не было ни одного знакомого без домашнего телефона, во Владимире телефон был большой редкостью, только у власть имущих.

Так жила империя. Ну а что касается тягот тоталитарного режима, они были для всех одинаковы. Пожалуй, особый пласт занимали русские в национальных республиках. Недаром был в ходу такой анекдот: «Чем отличаются США от Таджикистана (Армении, Киргизии и т.д.)? Тем, что в США черные работают на белых, а здесь наоборот». При всей примитивности анекдота была в нем сермяжная правда.

Алина знала это и по своему литературному труду. В любом московском издательстве была «разнарядка» в разделе «национальная литература» на каждую республику. И переводили русские писатели не только достойных и понастоящему талантливых, но и посредственных, и вовсе бездарных. Порой переиначивали сюжет, вводили новых героев, мало что оставляя от оригинала. Самим в Москву пробиться практически невозможно, так хоть заработок, хоть фамилия в качестве переводчика... Что уж душой кривить, поступались совестью и те, и другие. Впрочем, бездари зачастую начинали верить в свой несуществующий талант, принимая незаслуженные почести как должное, выходили в маститые...

А ведь многие русские оказались здесь не по своей воле. Когда-то выслали в Среднюю Азию кулаков — крепких, хозяйственных, непьющих мужиков, — от них пошло такое же потомство, генофонд русского народа. Бежали, спасаясь от репрессий, «безродные космополиты», ученые с мировым именем; чтобы помочь молодой республике, отправлялись в дальний путь энтузиасты и романтики, — среди них были родители Алины, в ту пору еще не знавшие друг друга... Жили в палатках, работали под палящим зноем и превратили Вахшскую долину в цветущий край, где зреют лимоны. Тот, кто читал книгу Бруно Ясенского «Человек меняет кожу», может представить, что выпало на их долю. Родители Алины хорошо знали писателя и дружили с ним. Отец Кости, кадровый военный, был когда-то командирован в Туркестанский округ... Во время войны некоренное население пополнилось беженцами — украинцами, белорусами, евреями, осетинами, тоже, в основном, работающим, непьющим людом. И, пожалуй, последний наиболее массовый заезд был в 60-е годы, когда в предгорьях Памира началось строи-

тельство Нурекской ГЭС. Выстроили и гидроэлектростанцию, и уютный город энергетиков, в котором остались жить и при въезде в который до сих пор висит огромный стенд: «Нурек строит вся страна!»

Сейчас энергетики отрезаны от всего мира бандами экстремистов и едва ли не умирают, как звери в зоопарке, от голода.

Развал Союза толкнул к отъезду тех, кто все еще сомневался, выжидал лучших времен, и даже тех, кто уезжать не хотел вовсе. Квартиры упали в цене до предела, «сами отдадите, бросите, когда убежать будете», — этой расхожей фразой обычно и заканчивался торг.

Прощаясь с друзьями-евреями, Алина по доброму завидовала им. Маленький Израиль устраивал для беженцев бесплатные авиарейсы, а паспорт гражданина страны вручался прямо по прибытии в аэропорту. Немцам самолетов не предоставляли, но, продав за бесценок квартиру, а то и вовсе бросив ее, они знали, что там, на этнической родине, окажутся сразу под крышей.

Кстати, многие из тех и других уезжали с тяжелой душой, но прекрасно понимали, что если России не нужны свои русские...

«Русскоязычных» никто никуда не звал и нигде не ждали. Зато требования вывести из Таджикистана, теперь уже суверенного государства, 201-ю дивизию стали звучать с удвоенной силой. В километровой очереди за хлебом только об этом и говорили. Пожилая женщина, с тупым от страха и бессонницы лицом, спросила Алину: «Почему они хотят, чтобы нас убили?» Потом, не дождавшись, да, видимо, и не ожидав ответа, перекрестилась и стала читать молитву. Прислушавшись, Алина ужаснулась словам этой «молитвы». «Господи, если войска выведут, сделай так, чтобы дети и внуки тех, кто этого требует, оказались здесь, рядом с нашими детьми и внуками. Господи, сделай это!»

Километровые очереди выстраивались не только за хлебом, но и у российского посольства. «Для того оно и создано, чтоб позаботиться о нас», — убеждали друг друга «русскоязычные» старухи, прикрыв седые головы праздничными платочками, — теперь, глядишь, и с контейнерами порядок наведут, и с поездами, а нам гражданство российское выдадут.

Но никто и не думал наводить порядок. Это ваши личные, не государственные проблемы, — объясняли бестолковым старухам. Получить же российское гражданство было тоже практически невозможно из-за бюрократических проволочек и дороговизны.

И возвращались старухи домой ни с чем, вытаскивали из дому последний скарб — старые занавески, ведра, настольные лампы, коврики, и устраивались продавать тут же, у крыльца дома, в надежде наторговать на кусок хлеба, потому что с базаров их гнали в шею. Алина, когда проходила мимо этих старух, ускоряла шаг, стараясь не смотреть в их сторону. Дома делилась впечатлениями с Костей и плакала. Он слушал всегда внимательно, не нарушая при том своей сосредоточенной несуетливости. Поэт, он воспринимал время по-другому, осмысливая его в каких-то иных ипостасях. Может быть, ему было легче. А может быть, наоборот — он взваливал на плечи куда больший груз. За долгие годы любви и близости Алина, пожалуй, впервые поняла это, вслушиваясь в строки стихотворения, написанного в эти дни:

*... Память, как локоть,
Как далекие до безобразия
Синие звезды Европы,
Зеленые звезды Азии.*

В УЩЕЛЬЯХ ГИССАРА ДИКИЙ ШИПОВНИК РАСЦВЕЛ

Сегодня ночью мне приснился сон, будто родила девочку, крупную, розовую, хорошенькую. Но столь замечательный ребенок вовсе меня не обрадовал, у нас трое детей, куда еще четвертого? И так вся молодость на них ушла. Даже заплакала. Но, проснувшись, объяснила его себе так, как делала это когда-то бабушка: девочка во сне — приятная неожиданность, слезы к радости. И действительно, вскоре позвонил преподаватель университета, физик, то ли кандидат, то ли доктор наук Тимур Арипов. Знакомы мы были шапочно, и пока, как положено на Востоке, Тимур спрашивал о моем здоровье, здоровье детей, мужа и желал всяких благ, терялась в догадках о причинах его звонка. И тут он сказал:

— Я, Алина Николаевна, только из Москвы

прилетел, в командировке был. Заехал в Капустный Яр к своему однокласснику, вашему родственнику Саше Евсееву, привез от него письмо.

Сашка не был моим родственником, но возражать я не стала. Я и сама долго думала, что он родственник, может быть, двоюродный брат... Потом узнала: моя мама и его отец в тридцатые годы вместе приехали в Таджикистан осваивать Вахшскую долину. Так случилось, что оба мы остались без матери. Но у меня еще брат, сестра, а главное — бабушка, дедушка. Я никак не ощущаю своего сиротства. Маму помню смутно: строгое и, по-моему, печальное лицо. Печальное и прекрасное — так стало казаться сквозь время. А у Сашки — один отец. И живут они в центре города, в маленькой квартирке, в которой хоть и телефон, и ванна, но разве сравнишь с нашим домиком — у нас даже чердак есть, а еще двор, а во дворе собака, корова и старая раскидистая акация, и маленький огород. Вот поэтому, как только у Сашки каникулы, отец сразу приводил его к нам. Зимой и весной — ненадолго, летом — на целых три месяца. Да и когда еще в школу не ходил, жил у нас с весны до осени. Мы все любили Сашку, а он любил нас, но больше всех был привязан ко мне. Может быть, потому, что мы ровесники. Лет до пяти он и спал со мной. Если его укладывали в другое место, плакал:

— Хитренькие, мне без нее будет холодно!

Был он не по годам умный, очень любил и жалел животных. Никогда не забуду, как мальчишки убивали варана. И как занесло эту пустынную ящерицу в наш огород? Я увидела его, серо-зеленого, с длинным хвостом, — чуть приподнявшись на крепких лапах, варан, не мигая, тоже смотрел на меня. Конечно, они бывают крупными. Но тот показался мне просто огромным. Я заорала. И тут прибежали мальчишки. Что они делали! Забрасывали его камнями, давили лопатой. Не от жестокости, от страха. И Сашка кинулся в эту гушу, вперед острым плечиком, и плакал, и кричал, что варан безвредный, не кусается.

Сашка много читал и много знал о повадках животных. А мальчишки не знали и не слушали Сашку. Забыть бы, зачем держать в памяти эту жуткую картину? Но она врезалась навсегда из-

за страшных, ставших темными от ярости и бесилия глаз Сашки и немигающих, застывших глаз ящерицы.

После десяти лет я вдруг стремительно стала тянуться вверх. Сашка отставал. Худенький, кожа прозрачная. Темно-серые огромные глаза. Бабушка заставляла его пить парное молоко, он не хотел, капризничал, вообще ел без аппетита. После четырнадцати стал меня раздражать: ходит за мной как тень. А мне уже нравятся мальчишки, я влюбилась в красивого парня — осетина Казбека. Мы шушукаемся с сестрой, с подружками. У нас свои секреты. Сашка ревнует:

— Хитренькая, все без меня.

Я ему советую — дружи с братом, с Витюней. Он добродушный, здоровый, Сашку опекает, хоть и младше его, но им вместе неинтересно. Тот гоняет в футбол, уходит на Душанбинку рыбачить. Сашке за ним не поспеть.

— Вот приедет отец, уйду и не приду к вам, — грозил иногда Сашка, обидевшись. Но не уходил никогда до самого первого сентября. Когда я была поменьше, отец его, Алексей Иванович, брал меня на колени и тихо покачивал. До сих пор помню, как неудобно мне было у него на коленях. Может быть, потому, что, покачивая меня, он думал о чем-то своем, молчал, и колючий взгляд его устремлялся куда-то в пространство. Я мучилась, ерзала, ждала момента, когда будет удобно соскользнуть с колен. Мне еще оттого было неудобно, что Алексей Иванович никогда, при нас, по крайней мере, не ласкал Сашку и не сажал к себе на колени.

В девятом классе мы с Сашей сровнялись ростом. Мерились — спина к спине, затылок к затылку — одинаковые. Но стоило мне отойти на шаг, как я тут же казалась выше, крупнее. В шестнадцать лет у меня уже было все как надо: длинные ноги, тонкая талия, высокая грудь. Сашка по-прежнему худенький, узкоплечий, лицо бледное, но над верхней губой уже пробивается темный пушок. После девятого класса последнее лето вместе. В десятом почти не виделись. Сашка тянул на золотую медаль, собирался в Московский институт на физико-технический. А меня закружила моя первая любовь.

Кто сказал, что первая любовь самая главная, самая настоящая в жизни? Ничего у меня от нее

не осталось, кроме сына... Но налетела она, как вихрь, и была какой-то неистовой. Мой избранник был всего на год старше меня — высокий, кудрявый, голубоглазый. Он приехал в Душанбе из Ленинабада поступать в институт, но не поступил из-за меня, как справедливо скажут потом его родители. А я из-за него едва сдала выпускные экзамены. Нам было не до занятий. Целовались за каждым углом, за каждым деревом. Бабушка, моя добрая бабушка, ожидала меня до часу-двух ночи с мокрым полотенцем, чтобы «отхлестать по бесстыжим глазам», но вместо этого только плакала. Дед гонял моего ухажера в буквальном смысле палкой, он увертывался, убегал за калитку и тут же выстукивал мне в оконное стекло... Незлобивый, улыбчивый и, наверное, немного нахальный, снова входил в дом и как ни в чем не бывало заговаривал с моими стариками.

За влюбленным приезжали родители, приходили к нам домой, говорили что-то обидное, пытались увезти сына. Черта с два! Препятствия только подхлестывали нас. Мы чувствовали себя Ромео и Джульеттой. Наконец родные смирились, мы поженились, а через год нам не о чем было разговаривать. Но я ждала ребенка, и мы промаялись еще год вместе.

Родители его оказались хорошими людьми и потом, когда родился сын, старались, как могли, помочь нам сохранить семью. Но мы расстались. А большая любовь пришла ко мне позже, когда мне стукнуло уже двадцать три года. Первая же растаяла без следа. Хотя нет, если быть до конца справедливой... Когда я увидела своего мужа через десять лет после развода, у меня все же защемило сердце. Вдруг вспомнила, как мы мчались по горной дороге на стареньком мотоцикле, я сидела сзади, крепко обхватив его руками, уткнувшись носом ему в спину, прямо в ложбинку между лопатками, и чувствовала себя такой счастливой! Вот этого ощущения бездумного счастья, счастья просто так — со вторым мужем у меня, пожалуй, не было. У меня с ним было другое счастье — трудное. Но оно оказалось для меня дороже...

Саша поступил в университет. Алексей Иванович сказал:

— Теперь я могу позволить себе жениться...

Конечно, не мне сказал, кому-то из старших.

И действительно женился. К тому времени я узнала, что мать у Саши не умерла, она ушла от мужа и оставила сына с отцом. Меня это потрясло. Я уже сама была матерью и не представляла, что можно бросить своего ребенка, да еще такого, как Саша, худенького и слабенького. Говорили разное. Конечно, осуждали ее. Но находились и такие, что жалели. Рассказывали, что она была красивая и веселая, но не выдержала тяжелого, деспотичного характера Алексея Ивановича. А Сашку он ей не отдал, после чего она якобы уехала в другой город, запила и умерла чуть ли не под забором. Не знаю, сколько правды в этих рассказах. Наверное, больше других про это знала моя бабушка, но бабушка умерла. Я жила в своем старом доме с дедом и сыном Андрюшкой. Жила трудно: днем работала в редакции корректором, вечерами училась в пединституте. Андрюшку оставляла днем в яслях, вечерами с дедом, который любил его без памяти. С нами был иногда суров, правнука баловал, но силы уходили из него с каждым днем. Даже в самые жаркие дни у него мерзли ноги. Он разувался, закатывал штанины, садился на солнышко во дворе и все пытался согреть их. В такие минуты мне казалось, что дед скоро умрет и вот тогда-то я точно почувствую себя сиротой, хотя мне уже было за двадцать.

Саша впервые приехал из Москвы после третьего курса. Не знаю, почему не приезжал первые два года. Алексей Иванович ездил к нему с женой, а Саша не приезжал. Так или иначе, прихожу однажды с работы, а дед говорит:

— Сашка был. Тебя не дождался, оставил записку.

В записке было: «Аля! Приходи сегодня обязательно. Отец с женой на даче. У меня соберутся одноклассники. Посидим, потремемся. Я по тебе соскучился. Какая ты?» И адрес, потому что Алексей Иванович получил новую квартиру, в которой я ни разу не была.

Глянула на деда умоляюще — с Андрюшкой тащиться не хотелось. Дед махнул рукой: иди...

Летом, когда не было занятий, я старалась пореже оставлять сына с дедом. Старалась, но не всегда получалось. Мне было только двадцать два. Хотелось и в кино, и в театр, и просто в город. Поцеловала деда в серую щетину, чмокнула виновато Андрюшку и задумалась. Хотела при-

нарядиться, да особенно было не во что. Распустила волосы по плечам — они тогда у меня были цвета осенних листьев, подкрасила ресницы и пошла в чем была.

Сашка обрадовался, обнял меня, прижался щекой.

А я молчала, изумленная. Сашка изменился до неузнаваемости, стал красивым. Да и раньше, конечно же, был, только мы такой тонкой красоты тогда не понимали. Лицо по-прежнему бледное, ни кровиночки, но иконописные, рублевские черты. И бородку стал носить.

На столе коньяк, разносолы всякие. Это уж Алексей Иванович постарался. Ребят человек восемь, девчонки ни одной. Наблюдаю за Сашкой. Он совсем другой. Но поначалу он всегда другой, к нему всегда надо было немного привыкнуть. Помню, как после учебного года приводил его к нам отец в городской одежде: шортики, носочки, сандалики, рубашечка с отложным воротничком. А потом, к концу лета — такой же, как мы. Те же цыпки на ногах, сбитые коленки и ситцевые трусы до колен, сшитые нашей бабушкой. Только загар, от которого другие мальчишки к концу лета становились похожими на чертенят, никогда не приставал к нему.

Посидели мы славно, съели все, что было на столе, и я еще жарила картошку. Расходились за полночь. Саша идет меня провожать. Он захмелел, да и мне с непривычки коньяк ударил в голову. Вспоминаем разные истории из детства, смеемся. Вот уже и дом мой за поворотом. Саша обнимает меня, наклоняется — теперь он выше, хотя я на каблуках, — и вдруг целует меня. Целует не так, как при встрече... Наверное, получилось это нечаянно, но он целует меня еще и еще. И неожиданно для себя поворачиваемся и молча в обнимку идем к нему. Переступаем порог и, не включая света, начинаем обниматься.

Раннее и недолговременное замужество не оставило во мне особого следа, и плоть моя была, видимо, еще не разбужена. Но сейчас и мне захотелось мужской близости. Мы молчим и торопливо раздеваемся. Так торопливо, словно боимся опоздать куда-то. Но Саша вдруг отходит от меня и отворачивается к стене. Я в растерянности, мне стыдно своей наготы. Но в тот момент я подумала, что это у него впервые, что он не знал женщины, и решила: подошла

к нему, взяла лицо в ладони, повернула к себе. Он почти простонал:

— Нет, не могу. Ведь мы с тобой как родные. Как будто с сестрой...

Одевались молча. И всю дорогу молчали. Возле моего дома он потихоньку поцеловал меня в щеку.

Потом мы оба старались забыть нашу несостоявшуюся близость, но она стояла между нами еще долго, и долго не исчезало чувство неловкости.

После института Саша остался в Москве, все реже и реже приезжал в Душанбе. Иногда писал. Потом и письма, и открытки редкие с днем рождения, с праздником прекратились. Но с отцом его, Алексеем Ивановичем, жизнь сводила меня не раз. И как сводила! Было время, когда я считала его своим врагом, самым черным человеком в моей жизни...

Угрюмый, с колючим невидящим взглядом, он все выше поднимался по служебной лестнице и стал большим человеком в нашей республике, — таких называют обычно серыми кардиналами. По крайней мере, наш редактор, которого за глаза все звали «дедом», когда звонил Алексей Иванович, тут же поднимался и говорил с ним по телефону стоя. Конечно, это служило поводом для шуток и острот в нашей редакции.

Только я, пожалуй, не смеялась над редактором. Он был тоже вахшстроевец, в молодости любил мою маму, а она предпочла ему другого, то есть моего отца. И ко мне он относился с нежностью, опекал меня. А иногда подолгу всматривался в мое лицо, словно пытался разглядеть в нем дорогие полузабытые черты.

Однажды редактор предложил:

— Давай начинай пописывать понемножку. Пока я жив-здоров и хожу в редакторах. Не боги горшки обжигают. Завтра студенты на целину уезжают. Сделай репортаж. Чего уж проще...

Так я стала печататься, а через год, когда перешла на последний курс, Дед перевел меня в литсотрудники, так тогда называлась должность корреспондента. В коллективе меня недолюбливали: сослуживцы всегда настороженно относятся к тем, кого особо привлекает начальство, но я не обращала внимания. Утром заваривала Деду кофе, кормила его бутербродами. А когда приходила к нему домой — Дед жил один, бобы-

лем, убирала квартиру, несмотря на все протесты. А когда умер мой дед, я и вовсе привязалась к редактору, не очень огорчаясь тем, что ребята никогда не приглашали меня на свои посиделки, хотя собирались довольно часто. И даже если я входила в кабинет в разгар громкого спора, тут же смолкали. Ладно, у меня и своих забот по горло. А работой я была довольна. Жизнь текла размеренно и спокойно, пока к нам не приехал новый заместитель редактора Костя Пашков, который и стал впоследствии моей самой большой любовью, моим мужем. Но как трудно и сложно складывались наши отношения...

Сказать, что он сразу поразил воображение всех редакционных женщин, это ничего не сказать... Лобастый, смуглый и оттого неожиданно голубоглазый, с крупными, но правильными чертами лица, с твердо очерченным подбородком, он являл собой эталон мужской красоты. И улыбался Костя широко, всем лицом, и тогда на подбородке появлялась трогательная ямочка, а во всем облике что-то мальчишеское, озорное. Был он также высок, широк в плечах, как потом узнали, играл в водное поло в команде мастеров Узбекистана. Но, быть может, самое главное — писал стихи и уже печатался в журнале «Юность». Говорили, что из Ташкента ему вроде бы пришлось уехать, оттого что стихи его не пришлись по вкусу высокому руководству.

Примерно месяц Костя молча сидел на летучках, подолгу листал подшивки газет и становился все мрачнее и мрачнее. И вот пришел день, когда он наконец произнес:

— Разрешите мне...

И все сразу замерли, хотя на летучках обычно никто никого не слушал и каждый занимался своим делом. Музафар, заведующий промотделом, вычитывал материалы, он никогда не успевал сделать это вовремя. Зуля Насырова рисовала кудрявые, похожие одна на другую, головки, дядя Гриша, наш старый фотограф, подремывал...

А тут все замерли и уставились на Костю. А что он говорил! Называл газету беззубой, не имеющей своего лица и направления. Выдергивал фразы из материалов, произносил их ернически, а все весело смеялись, будто бы не были сами авторами этих строк. Редактор наш вжался в кресло, очки его испуганно поблескивали. Мне

было стыдно за него. Почему не остановит своего заместителя, не поставит на место? Но еще больше возмущали сотрудники. Предатели! Не ценят доброго отношения. Ведь Дед — он какой? Отпуск без содержания по семейным обстоятельствам — пожалуйста. Плохо себя чувствуешь — отпустит домой. Материальная помощь нужна — выхлопочет обязательно. Но нет, загалдели. Поддакивают, бросают с мест реплики. Оказываются, их давно тошнит от такой работы, они просто задыхаются...

В общем, редакция раскололась на два лагеря. Причем один из них был весьма малочисленным и состоял из редактора, меня да дяди Гриши. И даже наш самый молодой сотрудник Толя Десяткин, или Толя Позвоночник — так прозвали его ребята за то, что он был принят в редакцию по звонку сверху и писать-то толком не умел, примкнул к лагерю противника.

С этого дня изменился сам ритм работы. Ребята носились по редакции как угорелые. Тихие наши летучки превратились бог знает во что — на них орали, ругались, спорили. Редактор наш слег в больницу. Унылый, неразговорчивый дядя Гриша ушел на пенсию. Я осталась одна.

Однажды после дежурства Костя попросил меня задержаться. Теперь читал полосы и подписывал газету он. Я с независимым видом уселась в кресло напротив. Он начал без обиняков:

— Вижу, что вы не согласны со мной в оценке работы редакции. Отчего же молчите на летучках? Не согласны — спорьте, доказывайте! За свои убеждения надо драться!

Пока я собиралась с мыслями, он опять спросил:

— Вам, видно, нравилось работать так, как вы до сих пор работали? — В его голосе звучала снисходительная усмешка.

— Да, нравилось, — с вызовом ответила я.

Светлые глаза его засветились любопытством. Я решила:

— Если хотите правду, я считаю, что это стыдно — прийти и растоптать авторитет, который складывался годами.

— Интересно, — задумчиво произнес он. — Что же это за авторитет, который можно прийти и растоптать? И вообще, по-моему, вы ходите по редакции как спящая красавица и ничего не видите. Нарыв-то давно назрел, я только чуть по-

мог ему лопнуть. Кстати, о редакторе, — вы не знаете, почему он такой напуганный?

Я разозлилась, но ничего не ответила. Да и что я могла ответить?

— Собственно, я против таких, как он, ничего не имею, — продолжал Костя. — Бывает, сломался человек. В таком случае найди себе местечко потише, поспокойней и сиди, дорабатывай до пенсии. Зачем же в газету лезть?

— Нам, наверное, не понять друг друга. Я очень уважаю редактора. Кроме того, у меня перед ним и личные обязательства, это он сделал меня журналисткой.

— А кто вам сказал, что вы журналистка?

Такого хамства я не ожидала. Поднялась, чтобы уйти. Он схватил меня за руку:

— Нет уж, простите...

Кинулся к подшивке и стал лихорадочно листать ее.

— Так-так... Значит, о чем мы пишем? Ага. «В новом 121-м микрорайоне распахнул свои двери молодежный клуб «Юность». Прекрасно. Пойдем дальше. «С большим успехом в нашем городе прошли гастроли...» А это... неужели критический? Ой-ой-ой... Киоскера поругала. Подумать только! А вот опять кто-то «распахнул свои двери» — теперь филиал библиотеки. Поймите, вы только рассказываете о событиях. Это тоже нужно. Но где проблемы? Кому и в чем вы когда-то помогли? Какую «гору» с места сдвинули? Не спорю, пером вы владеете и слово чувствуете. Но, честное слово, я лучше всю жизнь буду править Музафара Рустамова, который не совсем в ладах с русским языком, чем читать вашу гладкую дребедень, потому что каждый его материал может стать гвоздем номера.

Как я ненавидела его в эту минуту! А может быть, уже любила?

Утром я пришла в свой отдел писем и задумалась. Нас было двое: я и учетчица писем, славная девочка Юлия. Два месяца назад, не сработавшись с редактором, уволился и ушел в таджикскую газету наш заведующий, Коля Ибрагимов, хороший журналист, прекрасно владевший русским и таджикским языками. Нового пока не подобрали, более того, я думала, что Дед просто ждет, когда я получу диплом, чтобы сделать заведующей меня. Ведь до вчерашнего дня я считала, что работаю хорошо, меня

действительно никогда не правили, а когда в конце месяца подсчитывали строчки, я нередко выходила победительницей.

Передавая в отдел письма, Дед говорил:

— Критические посылай в соответствующие организации. Пусть разбираются, чего нам лезть в их неурядицы.

И я добросовестно на бланке в графе «послано для принятия мер» писала: «в горздравотдел», «в РК профсоюза», «в горono».

Раскрыла папку с письмами, которую вчера не успели отправить. Взяла верхнее письмо, на котором уже стояла резолюция: «В Минздрав» и стала еще раз перечитывать его:

«Дорогая редакция!

Мне всего двадцать четыре года, а я вот уже пять лет как прикован к постели — инвалид первой группы. Случилось со мной несчастье вот таким образом. Весной, возвращаясь из военкомата, — через несколько дней должен был уйти служить в ряды Советской армии, — решил искупаться в пруду, прыгнул, а место оказалось мелким. Перелом шейного позвонка. Лежу совершенно неподвижно. Неоднократно читал в центральной прессе, как в Москве и Ленинграде делали операции таким больным, как я, и они уходили на своих ногах. И сколько ни прошу Министерство здравоохранения дать мне направление, очередь до меня никак не доходит. Было легче, когда была жива мама, но она умерла, наверное, от горя, глядя на меня. Сейчас за мной ухаживает братишка-шестиклассник, которого скоро выгонят из школы за двойки, да приходит моя девушка, с которой я встречался. Я не хочу, чтобы она приходила, но дело не в этом, а в том, чтобы мне дали направление. Только направление, я поеду за свои деньги, без сопровождающего, с братом. А после мамы остались кое-какие сбережения. С надеждой и уважением, Олег Васильев».

Вечером я поехала к Васильевым. В палисаднике перед крыльцом нужной мне квартиры играл со щенком мальчишка. Щенок мурзился, мальчишка смеялся, а я стояла и смотрела на их возню, пока он меня не заметил и не спросил: «Тетенька, чего вам?»

— Мне бы к брату твоему...

— А чего ж стоите? Заходите!

В комнате чистенько, полы протерты, на

электрической плитке шумит чайник, Олег лежит на опрятной постели. «Как же управляется этот мальчишка?» — мелькнуло у меня в голове.

— Вы из редакции? — раздался звонкий вздрагивающий голос. — Я так и знал, что вы придете.

Мне стало стыдно — ведь еще вчера я собиралась просто переслать его письмо по инстанции.

— Садитесь. Кешка, завари чай! Пирожки принеси! Это Леночка пирожков напекла, — пояснил он мне. — Знаете, ходит и ходит. А родители ее ругают. Годы-то идут. — Олег закрыл глаза и так пролежал минуту-другую. Потом заторопился:

— Вы уж постарайтесь, попросите за меня. Только направление. После мамы пятьсот рублей осталось на книжке. Еще можно продать кое-что. Кольцо мамино. Жалко, конечно, память, но она была бы жива, сама продала бы.

«Сейчас расплачусь, и это будет ужасно глупо. Плачущий корреспондент», — мучилась я.

Собралась с силами, откашлялась.

— Олег, я вам обещаю: будет направление. И не только направление. И сопровождающий, и оплачиваемый проезд. Я, Олег, все сделаю. — Голос у меня все-таки сорвался. Выскочила на улицу и там уже расплакалась по-настоящему.

На следующий день сразу после летучки пошла к главному нейрохирургу республики. Я его немножко знала, писала когда-то о сложной операции на мозге. Что-то о руках хирурга, о коротких командах: «скальпель», «зажим», о бисеринках пота на лбу...

Джура Джураевич был в своем кабинете. Попросил меня:

— Посидите, пожалуйста, минутку, я сейчас закончу разговор.

— Ну, так вот, — продолжал он, обращаясь к молодой женщине. — Я вам еще раз объясню, почему нужна операция. Опухоль давит на глаза, это очень мучительно.

— Но надежда, какая-нибудь надежда? — потянулась к нему женщина.

— Никакой. Поэтому мы и спрашиваем вашего согласия. Поверьте, мне эта операция ни чести, ни славы не добавит. Она нужна лишь для того, чтобы избавить вашего мужа от лишних мучений.

— А он сам? Как он сам?

— Видите ли, сам он решать уже не может...

— Ну что же, тогда делайте, что же, раз так...

Она поднялась и, окаменевшая от горя, деревянно пошла к двери.

Джура Джураевич повернулся ко мне:

— Я вас слушаю. — Лицо его было серым, глаза усталыми.

— Я по поводу Олега Васильева. Он лежал у вас. Пять лет назад с ним случилось несчастье...

— Олега я прекрасно помню. Историю его болезни — тоже. Давайте сразу к делу.

— Хорошо. Тогда скажите, пожалуйста, почему он в течение стольких лет не может добиться направления в Москву, в головной институт?

— И не добьется. То, что случилось с ним, уже необратимо. Никогда никакая операция ему не поможет. Ну что вы на меня так смотрите? — вдруг закричал он. — Не могу, понимаете, не могу сказать я парню: ты никогда не поднимешься и думать об этом забудь! И не надо мне рассказывать про то, что он поедет без сопровождающего, на свои деньги и про мамино кольцо тоже не надо. Мне все это уже рассказывала его девушка Лена.

— Значит, Лена знает правду?

— Знает, знает... И мать знала.

— Но вырезки, эти газетные вырезки, которые он собирает... Там описывались подобные случаи, я читала.

— Вот именно — «подобные». А подобные, кстати, я и сам оперирую. Вы поинтересуйтесь, сколько спинальных больных ушли на ногах из нашей клиники.

Джура Джураевич посмотрел на часы. Я поднялась.

— Простите меня, пожалуйста...

— За что? — удивился он.

Но я-то знала за что. Только не знала, что же теперь говорить Олегу? И зачем, зачем я так твердо обещала ему достать направление?

Не заходя в отдел, отправилась прямо к заместителю редактора. Он читал полосу. Спросила:

— Можно я посижу подожду?

— Сиди, сиди...

— А курить можно? — я к тому времени начала покуривать.

Махнул рукой:

— Что хочешь делай, только не отвлекай.

Я закурила и стала смотреть на него. Смотреть было интересно. Костя то улыбался, то хмурил

брови — они у него были густые, лохматые, то приговаривал: «Ну и ну!» и начинал черкать полосу, и я предстала, как будут возмущаться корректоры — сама сколько раз злилась, когда исправления вносили прямо на полосу. Редактор обычно правил мало.

Наконец он закончил читку и повернулся ко мне.

— Что там у вас?

Я рассказала. Опять — чуть не слезами.

— И главное, помочь нечем, — закончила я.

— Ну, это не совсем так. В самом главном, конечно, не поможешь. И все-таки что-то для него сделать мы можем. Квартира, говорите, без удобств? Сходите в райисполком, для инвалидов первой группы существует льготная очередь, ребята могут об этом даже не знать. Где он работал до того, как случилось несчастье? На «Таджик-текстильмаше»?

— Так всего три месяца...

— Не важно. Побывайте там, поговорите с комсоргом. Может, шефство какое над парнем возьмут. И в школу, где учится младший, тоже сходите. С Леной встретьтесь, девчонка, видно, стоящая, если знает все, а все-таки ходит.

Потом посмотрел на меня внимательно — мне показалось, даже ласково, и вдруг перешел на ты:

— А ты ничего. Может, и журналистка из тебя получится. Мне сначала показалось, что ты...

Он помедлил, подбирая нужное слово. Но, видимо, не нашел и повторил то, что уже говорил однажды:

— Спящая красавица... Ну, ничего, еще проснешься.

Потом продолжил:

— Да, материала тут, конечно, не будет. Сюсюкать вокруг такой беды ни к чему. Но теперь ты, возможно, научишься видеть за каждым письмом человека.

В обеденный перерыв пошла в больницу к Деду. По дороге забежала на базар, купила фруктов.

Дед лежал в отдельной палате, пускали к нему беспрепятственно. Но был не так плох, каким я боялась его увидеть. Мне обрадовался. Я села совсем рядышком и вдруг почувствовала такую жалость к этому ставшему мне родным человеку. Поцеловала его и, не зная, чем еще выразить свои чувства, зачем-то поправила на нем одеяло,

натянув его до подбородка, хотя в палате было довольно тепло. А он в ответ взял мою ладонь в маленькие сухие руки.

— Ну что там, рассказывай, как?

Я замешкалась, поняла, что редактор ждет жалоб и возмущений по поводу действий своего заместителя. Дед расценил мое замешательство по-своему. Стал меня успокаивать:

— Ничего, ничего! Это ненадолго. Алексей Иванович ему быстро рога пообломает!

Я боялась поднять глаза. Сейчас глянет на меня Дед — и все поймет. В голове полная сумятица. Ну почему он надеялся на человека, которого так боялся? Почему они — заодно?

В редакции скоро заметили, что я влюблена в Костю. Только Дед, который вышел из больницы и вновь приступил к своим обязанностям, ничего не замечал, по крайней мере, относился ко мне по-прежнему доброжелательно, а я по-прежнему кормила его бутербродами по утрам, только от разговоров старалась всячески уклониться.

Перелом в наших отношениях произошел после того, как он снял с полосы мой критический материал. История этого материала такова. В редакцию пришло письмо:

«Поверьте, что не желание отомстить, не ответить злом на зло заставило меня взяться за перо в то время, когда каждое воспоминание приносит непереносимую боль и, кажется, нет больше сил жить. Но ведь такое может случиться еще с кем-то. А это страшно! Моя дочь, студентка университета, почувствовала себя плохо — озноб, температура, сильная боль в горле. Пошла в поликлинику, записалась к отоларингологу. Когда подошла ее очередь, врач сказала: «Сначала вам надо пойти к терапевту, а если он сочтет нужным — направит ко мне». Участковый врач уже окончил прием, и дочери ничего не оставалось делать, как перенести визит к нему на завтра. Ночью ей стало хуже — лечила ее сама домашними средствами. На другой день предложила вызвать врача — она отказалась, сославшись на то, что поликлиника рядом и она в состоянии дойти. Однако и терапевт ее не принял, заявив, что как студентка университета она должна обращаться к своему доверенному врачу. Вернувшись домой, дочь почувствовала себя так плохо, что ехать на автобусе к своему врачу не смогла. А

я находилась на дежурстве. Прихожу утром — она без сознания, температура выше сорока. Вызвала скорую. Оказалось, что у нее в горле начался абсцесс, а от него воспалилось ухо, мозговая оболочка. Может быть, по-медицински не совсем грамотно я объясняю. Но спасти дочь врачи уже не смогли...»

Перепроверив факты и убедившись в их истинности, я написала статью, вложив в нее всю душу. Материалы нашего отдела читал Костя. Редактор увидел его уже в полосе и пригласил меня к себе.

— Я должен тебя огорчить, — ласково сказал он. — Материал не пойдет.

— Почему? — удивилась я. — Разве можно молчать об этом?

Дед стал говорить, что «случай из ряда вон выходящий, нетипичный для нашей действительности, и, публикуя подобные материалы, мы порочим высокое звание советских врачей, которые самоотверженно трудятся» и так далее.

— Письму мы, конечно, дадим ход, — заверил он меня. — Виновные будут наказаны. Но на страницах газеты он не появится.

Я впервые стала возражать своему редактору, и тогда Дед доверительно сказал:

— Послушай, мы с тобой свои люди. Свои ведь? — переспросив, он заглянул мне в глаза. — Так вот, тебе я скажу правду. Главврач этой поликлиники — друг Алексея Ивановича. Он уже знает, что письмом занимались. Был звонок, — редактор уважительно посмотрел на телефон. — Я ему пообещал. Ты что же, хочешь, чтобы у меня были неприятности?

Нет, этого я не хотела. Молча вышла из кабинета. Костя, узнав о том, что материал «зарезали», тут же отправился к редактору, плотно прикрыв за собой дверь. Не знаю, о чем они там говорили, но в конце дня он подошел ко мне:

— Ничего, не расстраивайся. Я сказал метранпажу, пусть пока не разбирает. — И озорно, по-мальчишески подмигнул мне.

Материал вышел через десять дней, когда Дед был в Москве на совещании. Я ждала, что разразится гроза. Но Алексей Иванович, видимо, выжидал. Дед тоже молчал, только от моих утренних бутербродов наотрез отказался.

Тем не менее работала я с увлечением, даже летала на вертолете санавиации на Памир, что-

бы сделать репортаж с места событий. Живо откликалась на все письма, с удовлетворением замечала, что их поток постоянно растет, а содержание становится интереснее. С сотрудниками отношения заметно потеплели. Однажды они даже побывали у меня в гостях. Случилось это неожиданно. У Музафара родился сын. С утра он дежурил около роддома, а к обеду прибежал, счастливый, в редакцию. На вечер стал приглашать всех к себе на плов. Ребята шутили: куда? Музафар с женой жили в семейном общежитии, комнатка маленькая, особо не разгуляешься, и я предложила:

— Поехали ко мне! Дом пустует...

Действительно: сестра с мужем получили квартиру, брат учился и жил в Москве, в домишке только мы с Андрюшкой. Сначала я очень боялась, что ребята откажутся, а когда согласились, испугалась другого. В доме у нас вся обстановка — столы и табуретки, сбитые когда-то дедом. Полы некрашенные, бабушка, пока была жива, красить не разрешала. Когда мыли, натирали их грубым веником, и они светились, как яичные желтки.

— Живым деревом пахнут, — приговаривала бабушка после уборки. — А крашенные — они мертвые.

Потом, когда стариков не стало, полы я так и не выкрасила, а вот натирать их веником перестала, и они стали серыми. Вообще, дома полное запустение, сын целый день в детском саду, я на работе, да и особого стремления к порядку и уюту у меня никогда не было. Но оказалось, что нашим ребятам это, как говорят, до лампочки. Во дворе, на печке, сделанной еще дедом из старого ведра, которую мы называли мангалка, Музафар и приготовил отличный плов. Посидели хорошо, а я словно впервые увидела в тот вечер, какие интересные люди работают со мной рядом...

Ребята стали понемногу расходиться. Никто не звал с собой Костю, никто не спрашивал, в какую ему сторону, с кем по пути. Молчала и я, в глубине души надеялась, что он останется.

Утром мы вышли из дома вместе — я, Костя и Андрюшка. Не пряча глаз, я здоровалась со своими соседями. Мои бабушка с дедушкой пользовались в поселке большим уважением, да и меня эти люди знали с самого детства, и я была уверена, что они не подумают обо мне плохо. На

работе тоже никто не удивился, что мы пришли вдвоем. Я же вся светилась от счастья, не умея, да и не желая скрывать своих чувств.

Вечером сбегала за Андрюшкой в детсад и опять вернулась в редакцию. Должен же Костя что-нибудь сказать, неужели все кончится одной ночью? И действительно, он предложил:

— Махнем на ночь в горы? Завтра воскресенье, Андрюшку можешь пристроить?

— Могу, конечно. К сестре отвезу. Только как — «на ночь»? Где же мы там спать будем?

— У меня друг чего-то строит в Гиссаре. Сруб у них на реке стоит. Только захватим Сонечку.

— А кто это — Сонечка?

— Его любимая. Пошли?

Собирались бегом. Заехали ко мне, чтобы взять что-то из продуктов, купальник, халат, потом к сестре, оставить Андрюшку, потом в магазин — купить продуктов, потом за Сонечкой. Летом у нас смеркается поздно, но все равно, пока собрались, было уже темно. А нам еще надо поймать попутную машину, а потом идти пешком. Путешествие началось с приключений. Костя на дороге ловил машину, а мы болтали с Сонечкой. Оказалось, я ее немного знаю, она инженер-полиграфист, и я ее, конечно, видела на полиграфкомбинате, куда приходила после дежурства подписывать газету. Костя, увидев нас вместе, воскликнул:

— Ой, какие вы похожие!

И действительно, она, как и я, высокая, светловолосая. Только глаза у нее синие, а у меня — серо-зеленые. Сошлись мы с ней сразу. Нежная и восторженная, Сонечка читала стихи, причем всегда и везде, знала тогда еще малодоступных Цветаеву и Ахматову, мило картавила, витала где-то в облаках, видела мир голубым и розовым и такой оставалась всегда, до той поры, когда нам пришлось расстаться: одной из первых среди моих знакомых она уехала в Израиль.

Костя наконец остановил машину и крикнул нам:

— Девочки!

Мы подбежали, когда он был уже в кузове грузовика. Подал руки, помог нам взобраться, и машина с грохотом помчалась по горной дороге. Когда приехали и стали выгружаться, вдруг оказалось, что сумки в машине нет, мы с Сонечкой, кинувшись к машине, оставили ее на дороге. Я

расстроилась, и не только потому, что там были съестные припасы, наши с Сонечкой халаты и купальники. Хотя, конечно, теперь даже не позагораешь, а больше из-за расчески и косметических принадлежностей, — мне теперь хотелось быть все время красивой, а тут ни расчесаться, ни накраситься, но Костя так заразительно стал хохотать, что мы с Сонечкой рассмеялись. А еще он заверил нас, что у Сабира, так звали его приятеля, найдется что-нибудь поесть и расческа, конечно, тоже, так что не пропадем, «а уж без губной помады переживете...»

Пешком прошли километров пять и добрались до деревянного домика, расположенного в ущелье, возле реки. Двери были распахнуты, на полу лежали ватные одеяла, но мы не застали Сабира. Еще одна неудача.

— Придет, — заверил Костя. — А пока разожжем костер да посмотрим, что нам поужинать.

У входа в дом стоял ящик с помидорами, а Сонечка, которая, как и Костя, не раз здесь бывала, нашла в потемках яму, где Сабир хранил картошку. Пока нарезали салат и напекли в костре картошку, вернулся хозяин. Я увидела его первой и вздрогнула от неожиданности, когда в проеме двери показалась огромная фигура с ружьем и рюкзаком за спиной, а слабый свет копилки (мы налили в блюдце масла и сделали «свечу» из куска ваты, которую вытащили из одеяла) выхватил из темноты бородастое лицо.

— Сердце мое чуяло, — сказал Сабир и вытащил из рюкзака уже освежеванного дикобраза.

До полуночи жарили мясо. В первый раз я ела дикобраза. Оказалось — вкуснятина. Я даже сравнила:

— Как молодой поросенок.

Сабир пошутил:

— Ага! И главное — мусульманам есть не возбраняется.

Пока поели, уже близился рассвет. Костя предложил:

— Вы ложитесь, девчата, а мы уж досидим до утра у костра.

Мы с Сонечкой завернулись в ватные одеяла. Я уже стала подремывать, как вдруг Сонечка взяла и запела. Я просто обомлела, когда в этой тишине, которую нарушали лишь потрескивание костра да тихий говор мужчин, вдруг зазвуч-

чал протяжный русский романс: «Ямщик, не гони лошадей...»

И заслушалась, очарованная прекрасным голосом Сонечки и этой надрывной, раздольной, прекрасной мелодией.

Так же неожиданно, как запела, Сонечка вдруг умолкла. Я полежала минуту-другую, потом наклонилась к ней, она спала тихо и безмятежно. А у меня сон как рукой сняло. Вот только что умирала — хотела спать, а теперь — ни в одном глазу. И я невольно стала прислушиваться к разговору мужчин. Оказывается, они старые друзья. Еще по Голодной степи. Только Сабир занимался там строительством, а Костя редактировал голодностепскую газету, жили в одном вагончике.

Теперь я не только прислушивалась, а и подслушивала. Так мне было странно, что до меня, без меня у него была какая-то своя жизнь. Там, в Голодной степи, он встретил женщину, которую полюбил, но они почему-то расстались. Я мучительно пыталась ее представить, и мне хотелось, чтоб она была некрасивой. Хорошо бы еще и глупой! Не очень благородно с моей стороны, что уж говорить.

Засыпая, думала о чем-то высоком, какой-то параллели: Вахшстрой — Голодная степь. О судьбе. Но мысли не становились четкими, а так — плыли — я засыпала.

Чуть взошло солнце, ребята нас растормошили. Было прохладно, как всегда по утрам. И как всегда не верилось, что через пару часов уже будет за сорок градусов и о прохладе придется только мечтать. А вечером она, желанная и опять неожиданная, вновь спустится с гор.

— Пошли, девчата, пошли! — торопил Сабир. — Здесь рядом серный источник, вода теплая. Только сейчас и искупнуться.

Мы заартачились — не пойдем без купальников. Тогда Сабир серьезно спросил:

— У вас что, под платьем вообще ничего нет, что ли?

Мы рассмеялись и разделись. Ну, ничего, что в белых трусиках и лифчиках. Посмущались немного, потом пообвыкли. Действительно, быть возле воды и не искупаться — это непростительно.

Солнце уже набирало силу. Когда закроешь глаза, оно просвечивает сквозь веки. И не в

темноту погружаешься, в темно-красное зарево. Еще с часик можно полежать на солнце, и надо будет бежать в тень. Как все рыжие, я не загораю. Кожа сначала покраснеет, потом отшелушится — и весь загар. Только веснушки становятся ярче и выступают уже не только на лице, но и на руках, и на коленках. И все-таки я люблю солнце и не боюсь его. Даже не представляю, как можно жить там, где оно не такое яркое, могучее, щедрое... Хотя лето у нас, конечно, тяжелое. Но я и лето люблю. И, если честно признаться, благодарна родителям за то, что когда-то они, молодые энтузиасты, приехали в молодую республику, чтобы помочь ей, и что именно здесь я родилась...

В понедельник утром пришла на работу, а на моем столе лежит лист бумаги с печатным текстом. Взяла в руки, стала читать и ахнула от радостной неожиданности.

Стихи о нежности

*Жажды припадок — морем, пожаром,
Роем встревоженных пчел —
А потому, что в ущельях Гиссара
Дикий шиповник зацвел,
А потому, что в ущельях зеленых
Шиповник веснушчат и рыж,
Синие молнии бродят по склонам,
Синие льются дожди,
Звезды гнездятся, роняют осколки
В речку, в ветер, в траву,
В сердце... наверное, диким шиповником
Жажду мою зовут.*

День прошел как в тумане, а вернувшись с работы, оглядела свое хозяйство и задумалась. Что-то надо было делать, приводить дом в порядок. Конечно, ни извести, ни краски у меня не было. Да и не умела я ни белить, ни красить. Но если всю жизнь живешь среди одних и тех же соседей, да еще таких хороших, как наши, то не пропадешь. Пришла к дяде Хасану. Тот меня похвалил:

— Давно пора, дочка.

Пошел в кладовку. Там, видно, был полный порядок. В баночке с керосином стояла кисть. Дядя Хасан обтер ее тряпкой. Предупредил:

— Ставь в воду. А то засохнет.

Известку взяла у Гульчехры. Та даже обрадовалась:

— Стоит, мешается, а вылить жалко. Думаю: вдруг кому понадобится.

И я, не дождавшись воскресенья, за вечер выбелила стены. Все у меня горело в руках. Сама себя не узнавала.

Утром проснулась и спросила:

— Что со мной случилось?

Потом поняла что. Может, чуть запоздало, но я наконец почувствовала себя женщиной. Домашняя работа, которая висела на мне тяжким грузом и делалась кое-как, теперь превратилась в радость. Приготовить что-нибудь вкусное, испечь пироги, вымыть полы — все наполнилось смыслом и значением. Особенно я любила подавать на стол. Когда Костя ел, сидела, замерев, и следила за каждым его движением — убрать, подать, подсолить... А если не приходил, терпеливо ждала, не обижаясь: не смог, значит, не смог. Зато, если ночевал, вставала чуть свет, чтобы успеть приготовить завтрак, подать его горячим, сварить кофе так, как он любит: сначала слегка поджарить, потом залить холодной водой, добавить сахара и немного соли и главное: уследить, чтобы не успел выкипеть.

Знакомые, встречая меня в городе, спрашивали: «Ты что так похорошела? Прямо расцвела».

Я пожимала плечами в ответ, улыбалась, наверное, глупой улыбкой, про себя думала: «Да люблю же я, неужели непонятно?»

Часто виделась с Сонечкой, заражалась от нее способностью не думать о дне завтрашнем: хорошо сегодня — и прекрасно, и слава богу.

Но если я не думала сама, за меня, оказываются, думали другие.

На одной из летучек зазвонил телефон и по тому, как поднялся Дед, мы сразу догадались, кто звонит, хотя он и не назвал имени, а только произнес:

— Да-да, обязательно. Я тоже так думаю...

После летучки попросил меня задержаться:

— Алексей Иванович вызывает...

— Вас? — спросила я.

— Нет, тебя.

— А по какому поводу такая честь?

— Не знаю, — ответил Дед.

В отделе я рассказала о предстоящем визите. Тут же весть разнеслась по всей редакции. Ребя-

та заволновались. Вспоминали недавние материалы, дежурства — ошибок вроде не было. К чему же он прицепится?

— Ладно, приду — расскажу, — успокаивала я. А сама разволновалась, ничего хорошего не ожидая от этой встречи.

Пропуск мне был уже заказан. Секретарша, нырнув за массивную дверь и тотчас вынырнув, подтвердила:

— Вас ждут...

Алексей Иванович не оторвал взгляда от бумаги. Я не видела его очень давно и заметила, как сильно он изменился. Мышцы щек обвисли, подбородок отяжелел, в лице появилось что-то бульдожье. Постояв минутку-другую и не услышав ответа на свое «здравствуйте», я сказала:

— Алексей Иванович! Это я!

Он поднял глаза и глухо сказал:

— Вижу. Не слепой.

Но, когда заговорил снова, голос его потеплел:

— Садись. Я хочу побеседовать с тобой как с дочерью. Я, между прочим, так к тебе и относился. Хочешь правду? Даже думал, что ты за Сашку выйдешь замуж. И если б ты тогда не поторопилась...

— Это невозможно, Алексей Иванович.

Я вспомнила полумрак его квартиры, бледное Сашкино лицо и повторила:

— Это невозможно, мы с ним как родные. Как будто брат и сестра...

— Ладно... — согласился он. — Пусть так. Но твоя судьба мне безразлична. Ты ошиблась один раз. Тогда я не вмешался, были живы твои старики. Но сейчас не могу оставаться в стороне. Если бы он (он — это, конечно, Костя) завел шашни с кем-то другим, я бы знал, что мне следует предпринять. Но тебя я должен предупредить: это не тот человек, который тебе нужен. Ты знаешь, кстати, что он был женат?..

Я знала. Слухи о журналистах доходят быстро. Да, был женат. Но, видимо, неудачно. Развелся, детей у них не было. Квартиру и вещи не делил, уехал, в чем был. Но всего этого я объяснять Алексею Ивановичу не стала. Только сказала:

— Так ведь и я не девочка... А самое главное, Алексей Иванович, поверьте, что это не он, а я проявила инициативу. Я в него влюбилась. Я его, скорее всего, даже люблю.

— А он?

— Не знаю. Наверное, нравлюсь. Может быть, и полюбит со временем. А пока — нормальные отношения между взрослыми людьми — женщиной и мужчиной. Не надо, только не надо лезть во все это, если вы и вправду хоть чуть-чуть хорошо ко мне относитесь.

— Ну что ж! — Алексей Иванович поднялся и вышел из-за стола.

Фигура у него тоже отяжелела, обозначился треугольный гусиный живот.

Теперь он стоял рядом со мной. Дышал тяжело, с присвистом.

— Если ты в самом деле так в него влюблена, то могу предложить два варианта: либо вы поженились и тогда одному из вас придется уйти с работы, потому что никто не позволит разводить семейственность в редакции, либо вы не поженились и уйдете оба, причем с далеко идущими последствиями.

В редакции я никому ничего не сказала. Вернее, соврала: вызывал по поводу последнего критического материала, сделал внушение.

Правду сказала только Косте. Попробовала пошутить:

— Вот злодей, соблазняешь тут, совращаешь невинную девушку...

Однако он шутиwego тона не принял, помрачнел:

— Ты же понимаешь, что дело тут не в наших отношениях. Это только повод... — Помолчав, спросил:

— А что тебе еще сказал Алексей Иванович? Держу пари, предложил жениться.

Лицо его стало жестким.

Я молчала. Было больно и неловко.

— Так вот, я все-таки скажу тебе сразу: жениться я не собираюсь. Не именно на тебе, а пока вообще. Тем более по указке вышестоящих товарищей.

Собралась с мыслями, сказала ласково:

— Ничего, Костенька. Ничего. Я ведь и подождать могу, куда торопиться? Какие наши годы?

Костя глянул на меня недоверчиво. Потом глаза его потеплели, стали вроде бы чуть даже виноватыми. По-моему, он хотел как-то смягчить сказанное, но я поднялась:

— Кость, пойду, а? Голова так разболелась...

В тот вечер Костя не пришел, а я никак не могла уснуть. Обдумывала сложившуюся ситуацию.

Итак, жениться на мне не хотели. А уходить из редакции я тоже не хотела. Теперь, когда мне стало понятно, почему, по статистике, журналисты живут меньше шахтеров, я уже не могла жить без этой работы. И решила: будь что будет. Поживем — увидим. Что же касается Кости, я действительно решила ждать. Вбила себе в голову, что он тоже любит меня, и все тут. Просто сам этого пока не понимает. Или боится поверить, а теперь еще этот Алексей Иванович влез. Может, на то и рассчитывал, зная строптивый Костин характер.

Долго зревшая во мне женщина повела себя умно и осмотрительно, даже, пожалуй, расчетливо, — не торопила событий. Не приходил — никогда не спрашивала почему. Приходил — встречала ласково и приветливо. Однажды пришел в стельку пьяный. Я даже испугалась, не думала, что он способен так напиться. Но утром не подавала вида, стала отпаивать кофе. Уходя, Костя спросил меня:

— Ты вправду такая или притворяешься?

Я серьезно ответила:

— Сама не знаю.

Он засмеялся. Но, по-моему, уже сам понимал, что все меньше и меньше мог обходиться без меня.

Работать мне было трудно. Началась настоящая травля. Я все время мучилась, за что он нас так? Костя говорил:

— Ну что ты маешься? У человека такой стиль работы. Думаешь, он только на нас давит? А самое главное: ведь не такие страшны, как Алексей Иванович. Такие, как Дед, куда страшнее.

Долго я думала над этими его словами... Над редакцией между тем сгущались тучи, и неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы...

Утром, во время летучки, зазвонил телефон. Ничего в этом не было удивительного, он всегда трещал без умолку. И Дед, если это не было высшее начальство, тихо отвечал:

— У нас летучка. Попозже...

А тут, ну, честное слово, было в этом звонке что-то особенное. Я точно помню, как все замолчали и как дрожала рука редактора, когда он тянулся к трубке. А потом лицо его сразу сделалось серым, а глаза словно остекленели. И трубку никак не мог положить на рычаг. А мы все встали, и Дед наконец еле выговорил:

– Алексей Иванович... От инфаркта...

Я сразу забыла о наших натянутых отношениях. Видела только, как ему плохо. Поехала в аптеку за валидолом, а когда вернулась, застала его в кабинете одного. Он вжался в кресло, стал совсем маленьким, и таким искренним, таким неподдельным было его горе, что я не выдержала (тоже ведь не пожалела, не нашла другого времени) – сказала ему о том, о чем думала не однажды. Пусть в прошлом у них – вахштровская юность. Но сейчас, в нынешней жизни, он ведь не только газету, он его травил прежде всего. А в больницу он к нему когда-нибудь пришел, проведаль? Помог хоть в чем-нибудь?

Дед испуганно замахал руками:

– Что ты! Что ты! Зачем?

Он и мертвого его боялся. Почему? Чего я так и не смогла понять в их отношениях? Не знаю. Только мне вдруг показалось, что Дед и Алексей Иванович – две стороны одной медали, им нельзя друг без друга, и все тут.

Весь день мы ходили взбудораженные. Можно сказать, кроме дежурной группы, никто не работал. И целый день звонки. Целый день: «Вы уже знаете? Слышали?» Слова одни и те же, но как по-разному их произносили! Кто-то с горечью, кто-то со злорадством, но больше – с облегчением.

После шести к нам в редакцию зашел Пулат Гафуров, писатель, книги которого выходили в московских издательствах, но ни одна рецензия на них не появилась в республиканской печати волею Алексея Ивановича, – у него за спиной 10 лет Гулага. Зашли ребята из других редакций. Пулат предложил:

– Поехали в «Заравшон», посидим. Поговорить хочется. Деньги у меня есть.

«Заравшон» – ресторан за городом. Сидеть там хорошо, добираться только плохо. Но ничего, подвез какой-то дежурный автобус.

Сдвинули пару столиков, взяли немного водки и закусить чего попроще, подешевле. Но пили и ели мало. Зато говорили, перебивая друг друга. Каждый оговаривался:

– Конечно, о мертвых или хорошо, или ничего, но...

Мы и не заметили, как к нам подседа какая-то пьянчужка. Устроилась рядом с Музафа-

ром, тот разливает всем и ей тоже заодно. Но женщина вдруг влезла в разговор:

– Эй вы! Журналисты! Напишите про меня. Я первая из женщин-таджичек стала стюардессой. Не верите? Вот я сейчас...

Стала копаться в сумочке.

Костя грубовато перебил:

– Слушай, подруга! В другой раз, ладно? А сейчас топай. У нас тут, можно сказать, поминки...

– Сегодня похоронили? – она и не думала уходить.

– Нет, не похоронили еще, – стал объяснять Музафар. – Сегодня только умер.

Тогда она встала, пошатнулась и обхватила руками колонну. В черных глазах ее застыл ужас.

– Это грех! – прошептала она. – Большой грех – поминать, когда тело не предано земле. Это страшно.

И так, пятясь, стала отходить от нас, обнимая попеременно колонны зала.

Всем стало не по себе. А меня словно в сердце что-то толкнуло: Алексей Иванович – отец Сашки. И Сашка, конечно же, приехал, и у него – горе...

Подошла к Косте, стала шептать на ухо: «Пойду туда...»

Костя не понимал, переспрашивал громко:

– Куда ты?

– Туда, ну как ты не понимаешь... К Алексею Ивановичу.

В глазах его недоумение. Я добавляю:

– Там Сашка, понимаешь...

Про Сашку Костя знает, и до него доходит. Кивает:

– Иди.

Я все-таки медлю:

– Костя, если тебе неприятно, то я... – пытаюсь поймать взгляд. Взгляд хороший, добрый.

– Иди...

Остальное – как в тумане. Помню только, что Сашка обрадовался, прямо вцепился в меня и ни на шаг не отходил. А в квартире суетились чужие для него люди: соседи, которых он не знал, родня жены Алексея Ивановича, знакомые мне, но не Саше, ответственные работники. Вся ночь я с ним просидела возле покойного. Во время похорон Саша тоже стоял, держа меня за руку. А я валилась с ног от усталости. И все-таки из

толпы сквозь усталость пробился ко мне недоумевающий взгляд Музафара. Он даже усмехнулся: «Надо же, кто бы мог подумать — в числе самых близких, родных...»

Помню также, как выступал наш народный поэт — тоже вахшстроевец, бывший комсорг стройки. Говорил хорошие слова, кажется, плакал. «Где же правда? — мучилась я. — Где она? В чем?»

Но потом совсем отупела. А на кладбище, когда вместе с Сашей наклонилась, чтобы бросить в могилу ком земли, меня вдруг прорвало, и я заплакала.

* * *

Похороны твоего отца и были, Саша, нашей последней встречей, а с тех пор прошло... сейчас посчитаю. Да, почти 20 лет. И я стала забывать тебя, думала, что и ты забыл меня. Нет, я этого не думала, ведь я совсем не вспоминала о тебе, как же тогда могла думать... Это я уже поздним числом так решила, когда получила от тебя это странное письмо. Я прочла его раз, потом еще раз и наконец в третий раз — вместе с Костей.

«Дорогая Аля! Неожиданно заехал ко мне школьный друг Тима Арипов. Я ему обрадовался несказанно, так как от меня недавно ушла к другому жена и я находился в тоске, даже в некоторой прострации. Мы допоздна сидели, пили и вспоминали Душанбе. Я стал просить его по приезду найти тебя, — то, что ты не живешь в поселке, я знаю, последнее мое письмо вернулось, правда, это было очень давно. Тимка сказал, что нет ничего проще, что ты известная журналистка. Рад за тебя!»

Аля, я совершенно одинок, мне жаль, что оторвался от вашей семьи, ближе у меня никого не было, особенно ты, Аля, Аленький Цветочек моего детства.

Детей у нас с женой не было, а была собака, которую я любил как дочку (тебя не коробит такое сравнение?), но жена забрала собаку, просто так, со зла. Она ее никогда не любила, все время ворчала, что от нее везде волосы и грязь. Тоска!

Знаешь, я тоже по-своему известен, но в весьма узком кругу, поскольку я — засекреченный физик-ядерщик, всяческий лауреат, доктор на-

ук и т. д., ладно, перечислять долго и скучно. А вообще-то я больной, немолодой и жутко одинокий. Аля, вот бы нам увидеться, приезжай (или приезжайте, если ты с мужем), квартира большая, денег на дорогу вышлю, у меня их много. А кстати, ты не собираешься вообще перебраться в Россию?

Тимка давно дрыхнет, а меня ни сон, ни хмель не берут, хотя выпили мы будь здоров! Знаешь, я всю жизнь не пил, ну, не то чтобы ни капли, но очень мало, а сейчас думаю — дурак был, и пью. Но работаю, все нормально, ты не думай.

Пишу тебе и плачу, такой, видно, стал сентиментальный. Или все-таки пьяный? Мы встретимся, и ты расскажешь всю свою жизнь, а я буду молчать и слушать, потому что, кроме того, что написал, мне и рассказывать нечего. А если написал ерунду, сделай скидку на бессонную ночь и пьянку.

Андрюшка у тебя, наверное, совсем взрослый. А ты какая, Аля, очень изменилась? А для меня всегда останешься рыженькой девочкой, Аленьким Цветочком, я буду тебя ждать, ждать, ждать!

Саша».

Вот такое письмо. Костя, прочитав его, сказал: — Позови-ка его самого в гости. Сходите в свой поселок, да и одноклассников своих поглядает. Если не сможет, так мы летом поедem отдохнуть в подмосковный Дом творчества и вернем к нему. А пока ответь хотя бы коротеньким письмом, встретитесь, тогда уж и наговоритесь. Видно, плохо мужику совсем.

Потом помолчал и, как мне показалось, с оттенком ревности добавил:

— А он лирик, твой физик! Ишь ты — «Аленький Цветочек»...

Я так и сделала. Действительно, рассказать всего в письме невозможно. Это ж какое письмо нужно! Но все время ловлю себя на том, что мысленно разговариваю с тобой, Саша, вспоминая то одно, то другое. Готовлюсь к встрече...

Что касается собаки, Саша, то нисколько меня не покоробило сравнение с дочкой. Я сама люблю их как ненормальная, и у меня в жизни тоже были свои собачьи истории. Я потом расскажу тебе про сына, как он любит животных (впрочем, и я, и Костя, и девочки), и поэтому в доме всегда какая-то живность. Коты, хомяки, черепахи, попугайчики, ворон по имени

Кварк, даже змееныша сын держал в террариуме. Но с собаками мне, Саша, не везло.

Однажды председатель клуба служебного собаководства, мой постоянный автор — вместе бились за то, чтобы горисполком дал помещение для клуба, принес мне в редакцию щенка-овчарку.

Ребята шутили: надо брать борзыми... В перерыв я побежала домой. Щеночка — за пазуху, он пригрелся, перестал поскуливать. Дома торжественно поставила на пол — вот! Смешной, лапы разъезжаются. Дети визжат от восторга. Оглянуться не успели, как вымахал с телянка. Воспитания, естественно, никакого. Мы сами все народ бессистемный, беспорядочный, чему же собаку научить можем? Баловень, любимец. Спать в постель к нам забирался. На улицу через окно перемахивал, мы тогда жили в микрорайоне, в квартире на первом этаже. Совершенно беззлобный пес. Знакомые малыши верхом катались. Но не все же знали о его добродушном характере. На улице, во дворе — шарахались. Вид свирепый. Стали жаловаться на нас в домоуправление, в милицию. А он ни поводков, ни намордника не признает, к этому ведь приучают с раннего возраста. А теперь что толку — повела раз на поводке, побежал, чуть с ног меня не свалил.

В общем, отравили нашего пса. Жил в нашем доме такой отставник противный. И столько горя было, что я сказала: все, второго пса у нас не будет. И себя преступницей чувствовала: если нет времени, способностей воспитать собаку, значит, заводите ее мы не имели права. О том, что собаку отравили, детям не сказали, объяснили тяжелой формой собачьей чумки. Не хотелось так рано сталкивать их со злом, не были они к этому готовы.

А я, как ни зарекалась, привела в дом еще одну собаку. Случилось это так. Возвращалась с дежурства за полночь. И вот, уже недалеко от дома, встретила мне собака — среднего росточка, в темноте не разглядишь масти. Обнюхала меня и идет следом, хоть ты что. У фонаря рассмотрела ее — симпатичный лягаш и, насколько я понимала, породистый. Конечно, не утерпела, присела рядом с ней, хоть поговорить, хоть подбодрить немного — поди, потерялась. И вдруг собака заскулила с такой тоской, что я поняла: все...

На улице я ее оставить уже не смогу. Пока шла до дома, уговаривала себя: собака явно взрослая, похоже — выученная. Небольшая, дети во дворе пугаться не будут.

В общем, явилась домой с собакой. Улеглась она в коридоре на коврик — действительно, абсолютно приличная собака. Дети спали, Костя принял ее благосклонно. Охотничьих собак он любил особенно. Погладил:

— Лягаш, лягашенок...

Утром я улетела в командировку, а вечером, как всегда, звоню домой узнать, все ли в порядке. Поболтала с детишками, с Костей. Потом спрашиваю:

— Как там Лягаш?

Костя вроде как замялся. Я сразу:

— Что, сбежал?

Он:

— Нет, нет, все нормально. Вот он, рядышком. Но чувствую, недоговаривает чего-то.

— Костя, он тебе не нравится?

— Да нравится, нравится. В общем, приедешь — потом...

Что-то с собакой не так, — сделала я вывод. — Может, нечистоплотная? За что и выгнали?

Вернулась через три дня. Собака узнала меня, но радость проявляла сдержанно, наш Дик, тот с ног сбивал при встрече. А эта стоит в коридоре и еле-еле хвостиком виляет. Тогда Костя позвал ее:

— Гомер, иди ко мне!

И пояснил:

— Гомером мы ее назвали!

И прежде чем собака подняла морду и уставилась на меня белыми, слепыми глазами, я уже все поняла...

Так у нас появился Гомер. И знаешь, Саша, слепота его вовсе не была помехой. Что нам, на охоту, что ли, с ним ходить? Выученный — вот уж это бывший хозяин сумел сделать, ничего не скажешь. Никаких хлопот: ни лая лишнего, ни беготни за соседской детворой. И по своим делам на улицу всегда просится. И хоть казалось мне, что после Дика я ни одну собаку полюбить уже не смогу, к Гомеру очень привязалась. Да и он платил мне тем же. Каждое утро провожал на работу. Дойдем до перекрестка и расстанемся. Пока я бегу через проезжую часть дороги, к автобусной остановке, он стоит на обочине и словно

бы смотрит мне вслед. Но вот я уже на остановке — Гомер разворачивается и — домой.

В то утро все было как обычно. Я уже стояла на остановке, но Гомер не уходил. Не знаю почему, но меня это встревожило. Я стала кричать: «Гомер, домой!» А он вдруг кинулся ко мне, прямо в поток идущих машин. И страшно завизжали колеса машин, а я не смогла даже оглянуться, даже посмотреть на это... Не знаю, как добежала домой. Костя открыл дверь, он был на больничном, увидел мое белое лицо и стал трясти за плечи: «Что, что, что?..»

Но говорить я не могла. Тогда он, видимо, догадался сам. Побежал к дороге. Долго не возвращался. А пришел, молча взял лопату и ушел вновь. И лишь к вечеру я спросила: «Как ты думаешь, он — сразу?»

И Костя кивнул.

Мы опять соврали детям: Гомера нашел хозяин. Очень хороший человек...

Но вот что странно, Саша: в то утро на Путовском мосту произошла страшная автокатастрофа — автобус столкнулся с грузовиком и, пробив ограждение, упал в реку. В живых никто не остался. Я до сих пор думаю: не в том ли автобусе должна была я ехать? Мой маршрут, мое время...

Так что насчет собаки — тут я пойму, дружище, тут все нормально. Но не о собаках же мы будем, в конце концов, разговаривать? Мне надо будет рассказать о своей жизни, а вот это-то сделать не так просто.

Мы с Костей поженились вскоре после смерти твоего отца. Может быть, она даже как-то поспособствовала этому. (Прости, пожалуйста... Впрочем, этого я говорить тебе не стану.) Хотя где-то это меня мучит до сих пор. И в плохие минуты я говорю мужу:

— Еще неизвестно, женился бы ты на мне или нет, если бы Алексей Иванович...

Костя сердито перебивает:

— Что за ерунда!

А произошло это, знаешь, совсем не торжественно и просто. В один из дней Костя сказал:

— Слушай! Пойдем в загс, распишемся, что ли?

Свидетелей прихватили из редакции, кто-то кому-то позвонил, и нас зарегистрировали тут же. Вечером, однако, собрались друзья, а я так долго ждала этого, что не было сил радоваться. Да и ожидание мое на том не кончилось. До

сих пор я не слышала слова «люблю». Даже в самые нежные минуты Костя умел обойтись без этого признания. Зато давал мне смешные и ласковые имена-дразнилки: Ваша Рыжесть, товарищ Веснушкина, Зеленоглазик. Но главного не говорил. И лишь спустя несколько лет, когда у нас уже росли дочери-погодки, в совершенно будничном дне — вот, знаешь, ничегошеньки такого не случилось, я была замотана и, по-моему, ужасно выглядела, он сказал, словно бы сделал открытие:

— Ваша Рыжесть! А ведь я вас люблю...

Я спросила:

— Что ж ты раньше-то молчал?

— А раньше я сам не знал. А лгать в этом нельзя...

Что ж, я была рада, что Костя наконец понял это, потому что для меня эти долгожданные слова все-таки не стали откровением. Неужели стихи, которые он мне посвящал, не были признанием в любви? И еще я подумала: какие же мужчины все-таки глупые. Даже самые умные из них...

В чем мы не всегда бывали согласными с Костей, так это в вопросах воспитания детей. Когда они были поменьше, он много с ними возился — читал книжки, таскал с собой в горы, а вот учеба его совершенно не интересовала.

— Ты бы мог быть отличником, — твердила я сыну, а потом и девочкам. Все были достаточно способны, но особым прилежанием не отличались, разве что только младшая, Сашенька.

— А зачем это нужно — быть отличником? — вступал в разговор папа. — Из них ничего путного никогда не выходит.

Я вызывала Костю на кухню:

— Если тебе все равно, как учатся дети, то не мешай мне их воспитывать.

— А их и не надо воспитывать. Надо только поумному при них присутствовать, подстраховывать, если что — и все.

— Не умничай! — сердилась я.

Сейчас, когда сын уже отслужил в армии — на биофаке университета не было военной кафедры, старшей дочери пятнадцать, а младшей, соответственно, четырнадцать, я начинаю думать, что муж в чем-то был прав: дети растут такими, какие они есть. Не по образу и подобию, и получают совершенно нежиз-

данными. Правда, вслух я такую крамольную мысль не высказываю. Но иначе как можно объяснить, что в одной семье растут такие разные человечки?

Сын от своего отца позаимствовал, как я считала, только очень высокий рост, уже сейчас почти два метра, да русую кудрявую голову. А в остальном, мне казалось, походит на меня. Та же, почти болезненная любовь и жалость к животным. Сколько несчастных котят и щенят притаскивал он в квартиру, а я не умела отказывать им в приюте. Но и держать всех было невозможно, у нас и так всегда в доме целый зверинец. И мне приходилось их потихоньку от него где-то пристраивать, потому что выбросить я тоже не могла. А когда мы смотрели фильм с плохим концом, я видела, как у него на ресницах блестели слезы. Тогда я боялась, как он, мужчина, будет жить с таким нежным сердцем? Но где-то лет в четырнадцать Андрей стал себя переламывать. Занялся спортом, отчаянно дрался с мальчишками. Я охала над его синяками и ссадинами, старалась меньше отпускать на улицу, а Костя, наоборот, всячески драки поощрял, если считал их справедливыми.

А вот из армии Андрей вернулся совсем другим. Служил он в самом гиблом месте, в Казахстане, в тех самых песках Сары-Озека, которые описал в своем «Буранном полустанке» Чингиз Айтматов. Процветала дедовщина, офицеры, в основном штрафники, сосланные кто за пьянку, кто еще за какие проступки.

— Что же вы с Костей со своими связями не могли подсуетиться и уж если не совсем «отмазать» сына от армии, то хотя бы позаботиться о приличном месте? — спрашивали меня друзья.

Связи-то были, конечно, и говорить нечего: я к тому времени уже стала переводить книги писателей, среди которых были и депутаты Верховного Совета республики, и министр МВД, который писал плохие детективы, и с военкомом лично была знакома, но вот ведь какое дело: нам и в голову не приходило пристраивать сына в теплое местечко. Воспитание подвело, что ли... Считали, что служба в армии для мужчины — святое дело.

Через день после возвращения из армии Андрей сказал мне:

— Как вы меня воспитывали? Там такие, как я,

просто вешались или стрелялись. Я выжил только потому, что, к счастью, силен физически.

Я хотела что-то возразить, но встретила с холодным, жестким взглядом сына и промолчала. И тогда же поняла, что он уже никогда не заплачет над печальным концом кинофильма, что вообще передо мной стоит совсем не тот мальчик, которого мы провожали в армию, и что мне еще предстоит узнать его.

Самый необычный, что ли, ребенок в нашей семье — это старшая дочка Лена.

Впервые я озадачилась ею, когда было ребенку лет десять, ходит по квартире с затуманенным взором, как сомнамбула. Рисует, читает и спит. А больше ничего делать не хочет. Рисует очень хорошо, говорят, даже талантливо, но бессистемно, где попало и чем попало. И я просто расшибаюсь, чтобы приучить ее хоть что-то делать в доме, наконец просто ухаживать за собой, но все мои нравоучения оставляют ее совершенно равнодушной. Иногда я бью на жалость — мне тяжело управляться со всеми делами, поэтому столько приходится взваливать на младшую дочку, но и этот номер не проходит. Тогда я прибегаю к крутым мерам. Прячу краски, изрисованные листы бумаги и объявляю:

— Пока не приберешь в комнате и не выстираешь свое белье, никакого рисования и никакой улицы.

Она с ужасом и отвращением глядит на ворох белья, на захламленную комнату и кричит:

— Мама, как ты не понимаешь, я не хочу, не хочу это делать!

Набираюсь терпения, объясняю, что мы далеко не всегда делаем то, что хотим, а больше то, что надо, что иначе жизнь не проживешь.

— Представляешь, если бы мы с папой не хотели работать, то даже краски не могли бы тебе купить.

Вхожу во вкус, привожу один пример за другим, но она уже отсутствует. Сидит на грязном белье и пальцем что-то рисует на пыльном полу...

Но если бы только это! Лена отчаянная врушка, я о таких даже не слышала, не только не видела никогда. Ну разве что барон Мюнхгаузен. Когда была помладше, чтобы утром не пойти в школу, могла спокойно сказать, что у них вчера умерла учительница. Я спешу на работу, но по дороге все же решаю забежать в школу, узнать,

где жила учительница Майя Ильинична, чтобы выразить свое соболезнование, предложить помощь, и вляпываюсь, конечно, по уши...

Однажды, после выставки детского рисунка, о ней вдруг написали все газеты, поместили снимки ее работ. Меня поздравляли. Талантливый, почти гениальный ребенок. И у меня затеплилась надежда: а вдруг правда? Нет, не для славы... Но, может, это ее и вывезет? Не даст пропасть в жизни, завраться, просуществовать улиткой?

И откуда тогда в младшей, Сашеньке, постоянное чувство долга? Ей было пять лет, когда она сама стала ходить в детский сад. Расположен он был недалеко от дома, но не по пути на работу, так что где-то полчаса на то, чтобы отвести ее, у меня уходило. И вот однажды, когда я лежала, мучаясь тем, что надо вставать и будить детей, она вошла к нам в спальню одетая и сказала:

— Мамочка! Я одна пойду, там же дороги с машинами нет.

Я тогда не совладала с собой, — хроническое недосыпание делало эти утренние минутки в постели совершенно блаженными. Разрешила ей уйти, но через полчаса вскочила и побежала следом. Вдруг что-то случилось? Оказалось, все в порядке. На работу я опоздала, но с того дня моя младшенькая всегда ходила в садик сама, а сейчас, когда подросла, я знаю, что во всем могу положиться на нее, как на взрослого человека.

А в Россию мы, Саша, переезжать не собираемся. Даже мысли такой никогда не возникало. Вот в Узбекистан, в Ташкент, однажды чуть не переехали, и я тебе расскажу, как это было. Когда наш редактор, наш Дед ушел на пенсию, редактором газеты стал Костя. Только должностью этой скоро стал тяготиться. Знаешь, после смерти твоего отца на его место пришел новый серый кардинал (я попрошу у тебя прощения, если произнесу эту фразу вслух), ничего, в общем-то, не изменилось. Те же согласования, те же запреты, те же вызовы на ковер... Кроме того, Костя мечтал о литературной работе, он же, Саша, поэт милостью божьей, и тут его пригласили заведующим отделом поэзии в «Звезду Востока». Решили так: Костя один поедет в Ташкент, а я останусь в Душанбе, пока не поменяем квартиру. И знаешь, нашелся неплохой вариант, мы уже стали оформлять документы, как грянула беда. Я дежурила по номеру в газете «Коммунист Таджикис-

тана» (перешла туда сразу, как Костя стал редактором «Комсомольца»), уже подписала его в печать, а во времена Хрущева это всегда было не раньше 12 ночи, как вдруг по телетайпу передали: землетрясение в Ташкенте. Не помню, как добралась до дома, где племянница сидела с детьми, девчонки были совсем еще малышками. Денег не было, а я одно знала твердо: утром должна вылететь к мужу. Пошла по друзьям, ночь, гроза, ливень как из ведра. Разулась и шлепала босиком по лужам, но деньги нашла и в 5 утра уже была в аэропорту. Билетов, конечно, нет, но разве это проблема, если работаешь в главной партийной газете?

Прилетела в Ташкент, такси то и дело разворачивается; завалы, нет проезда, и очень пахнет пылью. Подъезжаю к глинобитному маленькому домику, где жил муж, слава богу, домик цел, только трещины по стенкам. Все-таки полураскрытую дверь открываю со страхом, и что же? Стоит мой любимый и на керосинке яичницу жарит. Села на порог и заплакала, ноги вдруг стали ватными... Но землетрясение это нам еще аукнулось. Во-первых, квартира, на которую хотели меняться, рухнула, хорошо хоть документы не успели оформить. А во-вторых...

Вышел очередной, третий за 1967 год, безгонорарный номер журнала «Звезда Востока» под общей шапкой «Писатели России — Ташкенту», вот после этого и случилось еще одно «землетрясение». Здесь были помещены стихи всех молодых поэтов, которые тогда были на слуху, а также опубликованы небольшие рассказы Бабеля и Булгакова. И разразилась гроза! Номер был изъят. Самый большой гнев вызвали стихи Вознесенского «Уберите Ленина с денег». Досталось и рассказу Бабеля «Мой первый гонорар», который назвали аморальным, осуждался и сам факт появления рассказа Булгакова.

Сотрудников журнала разогнали, да еще с различными партвызваниями. Пару лет муж мой перекаптовался в газетах, а потом и у нас был создан свой литературно-художественный журнал. Я тоже ушла из редакции и хотя время от времени сотрудничаю в той или иной газете, но в основном «на вольных хлебах», занимаюсь переводами.

Очень хочу, Саша, чтоб ты познакомился с моим мужем. После стольких лет совместной

жизни я люблю его так же трепетно, как и в первые годы. И рассказать о нем тебе не сумею, потому что сразу становлюсь косноязычной и перехожу на превосходную степень. Самый красивый, самый умный (его даже зовут человек-энциклопедия), самый талантливый и добрый. И так много — мне одной... Можешь представить, какая я счастливая?

...У меня был день рождения, а отмечаем мы все семейные праздники шумно и весело, и гостей за столом собирается немало. Все уже захмелели, и Ваня Максимов, кинорежиссер и бард, пел под гитару песню, которую написал на стихи Кости для одного из своих фильмов:

*Девушка плакала в гриву коня,
Черноволосая девушка — в гриву коня вороного,
Маки цвели, и поток разбивался, звеня,
Плакала девушка в радужном ореоле...*

И тут раздался звонок в дверь. Значит, пришел кто-то еще из опоздавших гостей. Шустрая Сашенька открыла дверь и позвала:

— Мама, там тебя спрашивает кто-то незнакомый.

Я выскочила за порог и увидела высокого худого мужчину, одетого несколько тепло для душанбинской осени: в длинном пальто и шляпе с полями. Мне показалось, что на руках он держит маленького ребенка. Вгляделась и закричала что есть мочи: «Сашка!»

А ребенок оказался огромной куклой. Он протянул мне ее со словами:

— Помнишь, я обещал...

И я вспомнила, вспомнила! В наше послевоенное детство все игрушки у нас были самодельные. И только дочка директора мясокомбината, которая училась в нашей школе, играла с огромной настоящей куклой. Однажды Сашка, увидев, каким завистливым взглядом я смотрела на дивную игрушку, сказал:

— Вырасту большим, стану богатым и подарю тебе такую куклу.

Вот и вырос, и подарил... А самое интересное, кукла была очень похожа на девочку, которую я родила во сне. И пусть теперь кто-то скажет, что я суеверная, а сны не сбываются...

ГЛАВА VI

Квартирой все решилось неожиданно быстро и просто. Звонил телефон, а когда Алина взяла трубку, низкий бархатный голос представился: с вами говорит министр юстиции.

— С чего бы это? — удивилась Алина, лихорадочно вспоминая, как зовут министра, но не вспомнила.

— Вы собираетесь уезжать? Квартиру продаете? Тогда пригласите хозяина.

Ну да, Восток есть Восток. Не с женщиной же обсуждать серьезное дело...

Положив трубку, Костя сказал:

— Он сейчас подъедет.

И действительно, минут через пятнадцать подкатила черная «Волга».

Осанистый, вальяжный, министр (ну настоящий министр!) походил по квартире.

— В общем, так... Завтра же можем оформить куплю-продажу. Билеты на самолет достану, в аэропорт отвезу. Провожу через депутатскую комнату прямо к трапу, там и отдам доллары.

Правда, цену предложил на треть меньшую, чем когда-то собирался дать покойный Шавкат. Но ведь и времена изменились, тогда Таджикистан еще не был заграницей, сейчас квартиры подешевели. А услуги, которые предлагал министр, были просто неопределимы. На улицах опять постреливают, транспорт почти не ходит, и хоть аэропорт в Душанбе находится в черте города, но все же далековато. Пешком Косте с больной ногой ни за что не дойти, да и Алине тоже, потому что ведь будет еще какая-то ручная кладь, та же одежда.

— На какие брать билеты? — спросил министр.

Алина с Костей на минуту задумались: сегодня понедельник, значит... Лучше на субботу. Лена в командировке, обещала вернуться в среду. Нужно успеть попрощаться с друзьями, да и сыну сподручнее будет встретить в выходной день.

— Ну, вот и все, — сказала Алина, проводив министра. — Вот и все...

И что-то как будто оборвалось в груди. Видно, где-то в глубине затаилась, жила еще надежда на то, что уезжать не придется.

— Ну что ты, Алечка! — Костя обнял жену. — Чего ты боишься? Мы же умеем с тобой работать, пойдем в ту же газету, если нет — так преподавать в школу. Согласен, таджикский язык не

пригодится, и вообще литературным трудом сейчас не проживешь, но у нас хорошая школа выживания, нам всегда приходилось самоутверждаться, доказывать свою состоятельность. И дети, слава богу, тоже выросли не бездельниками. Обустроимся — заберем к себе Сашеньку, Лена с годик повоюет и тоже приедет. Все будет хорошо. Так что давай беги к Салиму за соком, ставь свою брагу, устроим в пятницу большую пьянку, погуляем на прощание...

Алина, долгое время растягивающая заначку, оставшуюся от денег сына, теперь всю пустила в расход. Не скупясь и не торгуясь, купила на базаре рис на плов, белую муку, из которой Матлуба в тандыре напекла лепешки. А мясо, вернувшись из Тавиль-Дары, Лена привезла целый рюкзак. Разделав подорвавшуюся на минном поле коро-ву, пограничники щедро поделились с ней.

Вместе с Леной пришла вся «Вечерка» — Джалил, Роза и Алим, пришел Ваня Максимов, кинорежиссер, так похожий на артиста Гафта, что по этой причине даже в эпизодической роли не снимался в фильмах. Всегда его иронично-грустное лицо в этот день было совсем печальным: Ваня — человек одинокий. С женой развелся еще молодым, в Москве, она давно вышла замуж, сын вырос, стал известным журналистом-международником, но с отцом не общался. Больше Ваня не женился, хотя и один не бывал. Вот и сегодня пришел с очередной подружкой. Как правило, все они были смазливы, длинноноги и глупы, и Алина всегда удивлялась тому, как умный Ваня терпит рядом с собой подобных девиц.

Как вихрь, ворвалась, влетела Оса, «свободная женщина Востока». Вообще-то ее звали Осия, но, по созвучию, все называли Осой, и она действительно походила на крылатое насекомое со своей тонкой талией, роскошными блестящими волосами, огромными, чуть выпуклыми глазами, необычайной подвижностью. Даже когда Оса стояла, вся ее хрупкая гибкая фигура, казалось, была натянута как стрела: еще секунду, и взлетит.

Об Осе, конечно, следует рассказать особо.

Она была сиротой, росла в Ленинабаде, в детдоме училась в школе-интернате. Однажды из Москвы приехала какая-то высокая комиссия в поисках талантов среди сирот-детдомовцев. И оказалось, что у четырнадцатилетней Осии абсолютный слух и голос, обещавший стать коло-

ратурным сопрано. Летом ее отправили с сопровождающим — физруком интерната — в Москву. В столичной гостинице сорокалетний физрук в течение недели насильовал четырнадцатилетнюю девочку. Из-за подавленности и непрекращающейся боли в низу живота она не смогла пойти в музыкальное училище. Вернувшись, физрук сказал, что прослушивание Осия не прошла. Запуганная девочка молчала, и все бы было шито-крыто, но оказалось, что она беременна. Это грозило не только тюрьмой физруку, но и скандалом образцово-показательному интернату. Скандал замяли. Подправив документы, Осию отдали замуж в кишлак за старика.

Через полтора года с двухлетней дочкой Осия сбежала от мужа в Нурек, где только начиналось строительство крупнейшей в Союзе ГЭС, пришла в комитет комсомола, рассказала о своих злоключениях и поклялась, что если ей не помогут, бросится со скалы в пропасть. Так начиналась история современной Золушки.

Осие помогли: дочку устроили в ясли, ее — на курсы шоферов, потому что ни на какие другие она не соглашалась, а о музыкальном училище вообще слышать не хотела. Проработав несколько лет на огромном грузовике и внося свою лепту в летопись Нурекской ГЭС, отправилась в Душанбе завоевывать столицу республики и вскоре устроилась водителем такси, что было почти непостижимо: женщин, тем более таджичек, на такси не брали вообще, мужчины устраивались за большую мзду. Вот в те годы и свел Алину случай с Осией.

Пришла в редакцию женщина и рассказала, как стояла с больным ребенком на остановке в одном из только что заселенных микрорайонов. Телефона, чтобы вызвать врача, еще не было, троллейбусную линию тоже недотянули, а тут ливень как из ведра. Одна надежда — такси, но едва подъедет машина, к ней кидается толпа, а она с малышом на руках, с зонтом и сумкой так и остается на тротуаре. И вот когда очередное такси остановилось и парни уже устроились на сиденьях, водитель — а им оказалась молодая женщина-таджичка — послала их куда подальше, а забрала ее и отвезла в поликлинику.

Посетительница слезно просила написать о таксистке в газете, потому что сама даже поблагодарить не успела, номер машины не запомнила, имя не спросила. Ну, найти ее было совсем

нетрудно. Алина позвонила в таксопарк, и вскоре Осия подъехала в редакцию.

Из беседы с красавицей таксисткой Алина узнала, что та учится на заочном отделении юрфака университета. Так, пройдя огонь и воду, добралась Осия и до медных труб: стала одним из самых востребованных и высокооплачиваемых адвокатов в республике. Что ж, если учесть ее жизненный опыт, острый ум, редкую красоту и способность выживать в любых условиях, рассчитывая только на себя, ничего удивительного в этом не было. Ее дочка унаследовала от матери не только красоту. Окончив школу с золотой медалью, поступила в МГУ на факультет журналистики, вышла замуж за француза и живет теперь в Париже. Так что Осие было куда уезжать, но она тоже все тянула, все не могла расстаться с родиной, которая никогда не была к ней особо ласковой.

Одно немного смущало Алину: уж больно часто меняла Оса своих дружков, причем со временем они становились все моложе. Ну ладно, Ваня — мужик, а женщина — это как-то... Однажды в достаточно деликатной форме Алина пошутила над ее привязанностями, но Оса прямо взвилась:

— Если бы вы, Алина Николаевна, знали, под кого мне только ни приходилось ложиться, чтобы стать такой, какая я есть, вы бы меня не судили. А теперь все, власть переменилась... Полюбить я никого никогда не смогу, а уж попользуюсь мужиками в свое удовольствие, тут уж простите... Теперь я их покупаю.

Неведомо как забрел актер таджикского драмтеатра Азиз, Алина не знала его телефона и не звонила ему. Смешной он был парень. Говорил по-русски плохо, но дело даже не в акценте и не в неправильном ударении. Он мог так вывернуть фразу, что все умирали со смеху, и сам он, кстати, тоже. Ну чего, например, стоит такая: «Я по сам себе хорош, он по сам себе говно». Однажды в доме у Алины он с кем-то повздорил и предложил: «Давай выйдем и поговорим вдвоем-на-двоем». Раздался такой взрыв хохота, что уже никто никуда выяснять отношения не пошел.

Потянулись один за другим интеллектуальные юноши и девушки из литобъединения, которое вел Костя в Союзе писателей, оставалось их, правда, совсем немного.

Пришла сокурсница и подружка Алины Ничка, когда-то не было веселей и остроумнее ее

в компании, но в первый же год войны она впадала в тяжелую депрессию, плакала не переставая и вообще пребывала в некоей прострации, и Алина оставляла ее с тяжелым сердцем.

Заходили и уходили соседи.

Посидели славно. Пили и ели, обнимались и плакали, пели песни и рассказывали анекдоты. Каждый грустил обо всех и все о каждом... Говорили красивые добрые слова, но в какой-то момент заметила Алина, что в основном обращены эти слова к Косте... То один, то другой вновь и вновь просил его читать стихи, и он читал, читал так, как будто это был его творческий вечер, его бенефис. И поначалу даже кольнуло чувство ревности, а потом что-то такое промелькнуло в сознании, что-то тяжкое легло на душу, чем-то затревожилось сердце, но страх отогнал нахлынувшую волну, не дал додумать и понять до конца: с ней, Алиной, прощались потому, что она уезжала, а с Костей прощались навсегда... Слишком обнажены были нервы, слишком обострены чувства, слишком наэлектризован сам воздух общения, чтобы не осознать этого каким-то сверхнаитием...

Министр в точности сдержал свое обещание, и в субботу утром они сидели в самолете. Димка, в восторге от предстоящего путешествия, устроился у окна. Алина с Костей, вымотанные бессонной ночью и эмоциональными перегрузками, вскоре задремали. Но и сквозь дремоту не отпускали Алину тягостные раздумья. Она вдруг вспомнила, как после убийства Листьева целый день экран телевизора показывал только его портрет...

Листьева было жаль. Но она мучилась вопросом: вспомнит ли кто журналистов, погибших в Таджикистане, может быть, не менее талантливых, но волею судьбы не бывших у всех на виду, не поднявшихся на самые высокие ступени? Сразу всплыл образ Эллы Меламед, собкора «Народной газеты», погибшей в Курган-Тюбе.

Тихая и некрасивая, Элла так и не вышла замуж, а когда ей было лет тридцать, решила усыновить ребенка, из тех, от которых отказываются в роддоме. Ей не разрешали, — не положено, неполная семья, и она пошла на фиктивный брак. До четырнадцати лет растила сына, но, видно, ему на роду написано быть сиротой. В занятом исламистами Курган-Тюбе, откуда посылала Элла острые, смелые ре-

портажи, они голодали. Ночью пошла на поле накопать мерзлой картошки и не вернулась. Скорее всего, никогда не будет на ее могиле памятника, да и самой могилы тоже.

Скажут ли доброе слово о Гале Дементьевой? Ее правдивая информация звучала по «Маяку», когда почти все остальные центральные СМИ называли исламистских фундаменталистов демократами? Это она, Галя, птичка-невеличка, весь портрет которой – челка да очки, остановила кровопролитие в Гиссаре, когда ее давний знакомый полковник Махсумов, успешно сражавшийся против исламистов (его потом будут называть мятежным полковником), вдруг взбунтуется против правительственных войск. Бог ее миловал, осталась жива, но сорок дней провела в плену, в заложницах у одного из самых свирепых полевых командиров.

Картины прошлого проплывали в затуманенном сознании, как облака за окнами самолета. Лишь в свое будущее не пыталась заглянуть Алина. Не знала, какой удар ей готовит судьба, – вскоре после приезда остановится сердце ее любимого и он навсегда останется лежать на тихом сельском кладбище в селе Новом Суздальского района, совсем недалеко от дома, в котором так недолго они пробудут вместе... А если бы знала, то вряд ли поверила

бы, что сможет из этого выжить, но ведь выжила... И даже вновь взялась за перо.

Незадолго до смерти Константина Леонидовича переедет к ним Сашенька с десятилетней дочкой, названной в честь бабушки Алей. Вместе проводят они его в последний путь. А вот Лена не успеет. В Душанбе опять будут идти бои, бортом, под охраной автоматчиков, ее отправят пограничники лишь на девятый день, к поминальному столу... Еще через год она переберется во Владимир окончательно. Обе дочери будут успешно трудиться на журналистском поприще, а очерки самой Алины о проблемах беженцев и вынужденных переселенцев сделают ее лауреатом двух всероссийских журналистских конкурсов. Андрей, оставив бизнес, выберет тернистую дорогу правозащитника, и на его долю выпадет немало тяжелых испытаний.

Но ничего этого еще не знала Алина, прильнув к родному плечу, то засыпая под мерный гул самолета, то просыпаясь от его неожиданных встрясок.

Примечание: все стихотворения, приведенные в книге, принадлежат перу поэта Леонида Пащенко.

2003 г.



Людмила Дмитриевна БАСОВА.

Писатель, журналист, переводчик, киносценарист.

Родилась в Душанбе

и большую часть жизни прожила в Таджикистане.

Читателям известна по книгам «Про кино и про любовь» (1986),

«Зойка и пакетик» (1988), «Каинова печать» (2006),

«Предтеча любви» (2013).

Автор более десятка сценариев документальных фильмов.

Лауреат всероссийских кинематографических и журналистских конкурсов.

Перевела на русский язык произведения многих таджикских прозаиков.

Член Союза писателей России.

С 1994 года живет во Владимире.

